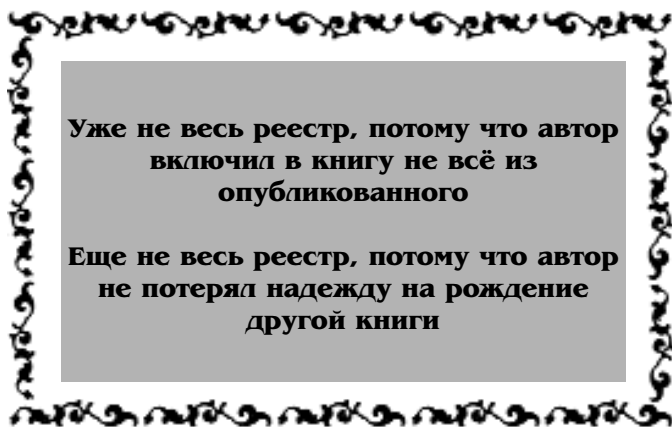


Евгений Бень

НЕ ВЕСЬ РЕЕСТР

Издание 2-е, дополненное



ИНФОРМ ПРОСТРАНСТВО

При участии "Бета-принт"

**МОСКВА — ОРЕЛ
2005**

УДК 821.161.1-4Бень
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б46

Бень Е.М.

Б46 Не весь реестр. — Москва — Орел: ИНФОРМПРОСТРАНСТВО, при участии "Бета-принт", 2005. — 164 с.

ISBN 5-902480-01-9

Книга публициста и историка литературы Евгения Бенья представляет портреты современников, среди которых люди, известные общественности, и люди, не столь известные, но со знаковыми для нашей эпохи судьбами. Отдельный раздел посвящен злободневным российским вопросам последних десятилетий. Особое место в книге занимают статьи, эссе, очерки о днях и трудах Владислава Ходасевича, Александра Блока и других поэтов прошлого.

ISBN 5-902480-01-9

УДК 821.161.1-4Бень
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б46

© **Бень Е.М., 2005**



СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Воронин. Энергия слова и времен 5

Рядом с современниками

Дочь поэта 8

Памяти Натальи Сергеевны Соловьевой 12

Жизнь во имя и вопреки 13

Своею колеёй 17

Не только о поэзии, а прежде всего о поэте 20

Лох железных десятилетий 23

Неостановимый пульс судеб 25

Во благо русской свободы 28

Предрассветный ветер 30

Не опуская взгляда 32

На линии века 34

Человек-фотовзгляд 35

День отца 36

На злобу дней

Во всем виноват... Владимир Соловьев 40

Псевдоевразия. Все дороги занесло? 42

Цепь безумия 45

О диалоге с правозащитником 46

Недорогой Леонид Ильич 48

Десять лет сквозь туман 51

Только то, что видел 53

Рядом с трагедией 56

У чернухи цвет ночи 58

О критике либерализма и произволе 60

*Так жили поэты*

На острие своем	63
«Не пробуждай воспоминаний» и Александр Блок	65
Гамаюн, Сирин, Алконост.	

Фольклор и живопись в двух стихотворениях	72
Об эпистолярном источнике стихотворения «Ночь»	79
За строками автографов	88
Блок в репертуарной секции	93
Неприкаянный странник. О Белом	104
«Мелкий бес» между прошлым и будущим.	

О бессмертном романе Федора Сологуба	106
Журнал «Весы»	109
О Владиславе Ходасевиче и его мемуарах	115
Ходасевич и Юлий Айхенвальд	129
Что останется из «глашатая»?	138
Ахматова и Чулковы	140
Расстрелянный путь Каннегисера	146

Изофонд писателей

Семейный альбом Аксаковых	148
Рисует Сергей Городецкий	152
Маяковский... По альбомам Алексея Крученых	158



ЭНЕРГИЯ СЛОВА И ВРЕМЕН

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Этот афоризм поэта покоряет своей емкостью и лапидарностью. Правда, вслушиваясь и всматриваясь в него, неожиданно замечаешь какую-то безотрадность. Но она размывается, исчезает, когда заражаешься писательским умением прорываться сквозь время — в иные времена. Для кого-то виртуальные, а для кого-то и реальные, когда меняются не только обстоятельства и логика движения событий, но и сам человек. Как это случилось на моих глазах с автором этой книги, которого я знаю без малого четверть века.

Я помню его совсем юным, стеснительным и добродушным в начале 80-х годов. Он пришел тогда ко мне, в редакцию журнала «Литературная учеба», с первыми литературоведческими, историко-литературными пробами. Совсем другой Женя, не похожий на сегодняшнего, умудренного богатейшим издательским, журналистским, писательским опытом, взрывного, очень часто несдержанного, но при этом не забывающего о реальных, не только жизненных, но и творческих, ценностях.

И самое главное — обладающего тем писательским умением, которое помогает войти в течение времени и преодолевать его, то устремляясь в грядущее, а то проникая в прошлое. Прямо-таки как в «машине времени» Герберта Уэллса или в созвучном этой машине «заблудившемся трамвае» Николая Гумилева.

Это уже и в самом деле не виртуальное, а реальное время, когда Евгений Бень ощущает себя однополчанином своего отца — воина-сталинградца, заново переживая события Великой Отечественной. Или уводит нас еще дальше, в глубины времени — в Серебряный век русской литературы, в мир Мережковского, Блока, Сологуба,



Ходасевича... И вот что примечательно: он цитирует эмигрантского критика первой половины XX века Владимира Бейдле, но въяве сам проживает все сказанное в этой цитате о Владиславе Ходасевиче как поэте и человеке. И словно бы сам Евгений Бень говорит о столь близком ему по умонастроению и творческому духу Ходасевиче: «Свидетельствую: был он добр, хоть не добродушен и жалостлив... Характер его был не тяжел, а труден, труден для него самого, еще больше, чем для других».

Такое сопереживание, соприсутствие — свойство для критика, писателя — из редких. Оно не может не привлечь внимание подлинных ценителей литературы. Недаром же первое издание этой книги (в 2000 году) получило одобрительные оценки в «Независимой газете», «Огоньке», в парижской «Русской мысли»...

А сам Евгений Бень не старается стать «чистым» критиком, публицистом. Всеми своими каждодневными заботами и задумками он подтверждает диагностику Ходасевича, который внимательно прослеживал, как соотносятся у истинно творческих людей «дар писать» и «дар жить». У таких людей, подмечал Ходасевич, «внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой... Часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции».

Сама жизнь разрушала эту изоляцию, заставляя забывать о недовоплощенном, когда Бень занимался редакторским и издательским делом, выпускал журналы, рекламные издания. И, наконец, газеты «Накануне» и «Информпространство». Во всех без исключения изданиях он не забывает о публицистике, художественной литерату-



ре, истории, искусстве.

Все эти грани представлены в книге в различных поворотах и ракурсах, в обращении автора к самым разным героям. И прежде всего — к современникам. Среди тех, к кому Евгений Бень проявляет обостренный интерес (и, как убедится читатель, интерес вполне обоснованный), — прозаики Георгий Балл и Алексей Варламов, поэт Ефим Бершин...

Нет необходимости перечислять все имена и все темы, затронутые в этой книге. Их увидит сам читатель. Хочу только остановиться на материалах, составивших раздел «На злобу дней», где журналист напрямую соседствует с писателем. Убежден, что писательские зарисовки в этом разделе весомее, чем журналистские размышления. С некоторыми из этих размышлений мне хотелось бы жестко поспорить (к примеру, с высказываниями автора в 90-е годы о событиях в Чечне). Журналистское слово уже по определению уязвимо само по себе, ибо злободневность во временной перспективе отступает перед весомостью вечных жизненных вопросов.

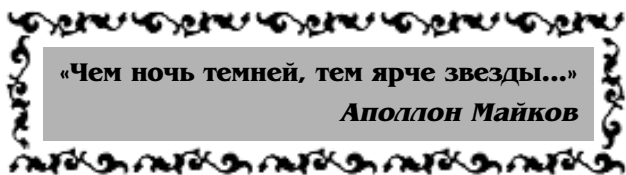
Пусть судит обо всем этом сегодняшний читатель книги. Не знаю пока, какие коррективы в его восприятие внесет читатель завтрашнего дня. Но пусть и в завтрашнем дне «слово наше отзовется». Ради этого и пишутся статьи, эссе, очерки, книги... Хочется верить, энергия этой книги преодолеет времена.

Леонид Воронин

2005 год



РЯДОМ С СОВРЕМЕННОКАМИ



ДОЧЬ ПОЭТА

Заснеженный ноябрь 1985 года. В подмосковном Шахматове дебютировали Блоковские чтения. Все доклады, менее или более удачные, прочитаны, и автобус везет участников к железнодорожной станции.

Стою, держась за поручень, и между прочим обмениваюсь мнением о прошедшем действе с сидящей рядом пожилой женщиной. Оказывается, я разговариваю с родной внучкой выдающегося историка С.М.Соловьева, внучатой племянницей великого философа Владимира Соловьева, дочерью поэта Сергея Соловьева — троюродного брата Александра Блока.

Еще в автобусе она сказала, что делает все, чтобы вернуть насильственно изъятое из нашей культуры имя ее отца, но слабо верит, что ей до конца своих дней удастся напечатать его произведения. Слава Богу, жизнь опровергла это грустное предположение дочери поэта, который писал ей, тринадцатилетней: «Помни всегда, дорогая, что мне надо только, чтобы тебе было хорошо. И, не сомневаясь в твоей глубокой любви ко мне, я не хочу от тебя никаких жертв. С самого твоего рождения ты была моей радостью и гордостью, так и осталась».

В 1993 году Наталье Сергеевне минуло восемьдесят. Сколько сил и времени она отдала сохранению наследия своего отца!



Сергей Соловьев (1885-1942) — один из представителей поколения младших символистов, близкий друг Блока и Андрея Белого. До октябрьского переворота увидели свет пять сборников его стихотворений. Самый известный из них, пожалуй, «Апрель», вышедший в 1910 году.

В 1912 году он вступил в брак со свояченицей Андрея Белого Татьяной Алексеевной Тургеневой. Их старшая дочь Наталья родилась 27 июля 1913 года. Татьяна Алексеевна ушла от Сергея Михайловича в 1920 году, забрав дочерей. Общение сестер, Натальи и Ольги, с отцом, однако, не прекратилось. Они проводили с ним каждое лето под Москвой, в Надовражном, а потом в Крюкове — все неподалеку от Дедова, бывшего имения Сергея Соловьева и его предков. Во второй половине 1920-х годов гостили вместе с отцом в Коктебеле у Волошина и в Муранове у Тютчевых.

1920-е годы — для Соловьева не только время ударов судьбы и христианского жизнестроительства. Именно тогда из недр прежнего его, отвлеченного, созерцания кристаллизовалось «над пустыней мертвого песка» глубоко реалистическое мировоззрение. Его стихи 1920-х годов отличаются предельной ясностью смысла, конкретной упругостью формы, строгим соответствием слова и образа, «пружинностью» ритма...

В начале 1920-х годов он перешел в католичество, а в 1926 году отец Сергей стал вице-экзархом русской католической церкви. В 1931 году он был арестован и, проведя несколько месяцев в следственном изоляторе на Лубянке, а затем в Бутырках, вышел оттуда душевнобольным.

Со дня ареста отца у Натальи Сергеевны, по ее словам, началась «трудная взрослая жизнь» с вызовами на Лубянку, с заботами о С.М.Соловьеве. К тому времени она поступила на краткосрочные геодезические курсы. Какое-то непродолжительное время даже не была чужда иллюзиям построения «фундамента социализма», хотела учиться только в техническом вузе, пойти в комсомол. Социальное происхождение стало неодолимым барьером и для того, и для другого. И очень скоро то, что воспринималось как поражение, оказалось спасением. Ей, некомсомолке, не пришлось в 1931-м отречься от отца. Наталья Сергеевна говорит, что она и не смогла бы этого сделать.

После выхода С.М.Соловьева из Бутырок она стала его официальным опекуном. Когда наступало обострение болезни, отца



приходилось устраивать в больницы. Летом 1941 года больница им.Кашенко, где находился тогда поэт, была эвакуирована в Казань. 2 марта 1942 года Сергей Михайлович Соловьев ушел из жизни. Его безвестная могила затерялась на Арском кладбище среди многочисленных захоронений умерших в казанской больнице от ран солдат и офицеров.

Еще в 1930-е годы старшая дочь начала переписывать в тетради неопубликованные стихи отца 1918-1928 годов. Они чудом сохранились, потому что Сергей Соловьев, ожидая со дня на день ареста, отнес их вместе с рукописью незаконченных воспоминаний верному человеку. Обыск при аресте шел всю ночь непрерывно. После кончины Соловьева переписывание его стихов было для Натальи Сергеевны способом общения с ним. Интуиция подсказала ей снять и машинописную копию с мемуаров.

Судьба наделила ее неодолимым стремлением к внутренней свободе. Ее обостренное чувство справедливости нередко оборачивалось конфликтами. Не раз за свою долгую жизнь она становилась на защиту униженных. И не раз несправедливость и предательство распространялись на нее лично.

В конце 1970-х годов в силу своей природной открытости она доверилась человеку, выдававшему себя за коллекционера, и передала ему стихотворные автографы Блока из юношеской тетради отца, дореволюционные поэтические сборники Сергея Соловьева, первое издание «Вечерних огней» Фета — семейную реликвию с акварелями О.М.Соловьевой — матери Сергея Соловьева. Теперь след этих бесценных реликвий утерян...

Еще задолго до того множество материалов было передано в бывшую Ленинку, где они пролежали в неразобранном виде аж до конца 1970-х. В результате выяснилось, что были утеряны рукописи воспоминаний и некоторых религиозно-философских статей Сергея Соловьева. Наконец, уже недавно все тот же рукописный отдел б. Ленинки, взяв с согласия Натальи Сергеевны семейные альбомы во временное пользование, подsunул ей какую-то деловую бумагу путаного содержания и неприхотливо объявил себя владельцем этих раритетов. Даже сюжет «Грабеж» в телепрограмме «Человек и закон» оказался бессильным вернуть их домой.

Чрезвычайно трудно идет возвращение произведений Сергея



Соловьева в наши дни.

О том, что Наталья Сергеевна была действительно духовно близким к отцу человеком, свидетельствуют многие стихи Сергея Михайловича, к ней обращенные. Он очень хотел, чтобы она общалась с Андреем Белым, дарившим ей детские книжки, считал, что в душе ее есть нечто созвучное Белому.

Наталья Сергеевна связала свою жизнь с театром. Отец, правда, считал, что этот путь не для нее: «В театре нужны волчьи зубы и лисий хвост». Этих качеств не оказалось, и карьеры артистической она не сделала. В 1945 году блестяще закончила ГИТИС и очень хотела работать в театре С.Михоэлса. Михоэлс готов был взять ее

в ассисентуру, хотя Наталья Сергеевна не знала и не могла знать идиша. Он считал этот барьер преодолимым. Но Комитет по делам искусств запретил ей работать в еврейском театре по причине национального несоответствия.

Она пошла режиссером в кукольный театр Сергея Образцова, затем поступила в аспирантуру Института художественного воспитания, защитила диссертацию, преподавала в Училище циркового искусства, а позднее — в Институте культуры, работала театральным критиком и рецензентом.

Наталья Сергеевна не надеется дожить до выхода в свет книги поэзии и прозы отца, хотя комментарии к его стихотворениям ею уже подготовлены. Многие мысли ее, наследника великого рода, обращены к России. Она не видит в ближайшие годы перспектив духовного возрождения, но продолжает верить в него. Утверждает, что вопреки всем невзгодам жить сейчас интересно. Ненавидит большевизм и черносотенство.



Наталья Соловьева. 1993



Она стоически переносит все невзгоды. В этом ей помогают соловьевские черты характера: тонкая ирония и мягкий юмор. Она называет себя «скелетом», перефразируя строчки шуточной эпитафии Владимира Соловьева, обращенной к самому себе:

Сперва был философ,
А ныне стал скелетом.

Все ее мысли и слова неизменно ясны и прозрачны.

Многая лета Вам, Наталья Сергеевна. Быть может, наше многотрадальное Отечество тем и живо, что Вы и единицы таких, как Вы, бодрствуете среди нас, приземленных и суетных. Помните, у Достоевского: «Люди на земле одни — вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь».

Газета «Утро России», 23-29 декабря 1993, с.9

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ СОЛОВЬЕВОЙ

С этим невозможно свыкнуться: среди нас больше нет Натальи Сергеевны Соловьевой. Никогда больше мы не услышим ее живых, злободневных, ироничных суждений о текущих событиях. Никогда не донесется из телефонной трубки неизменно бодрый, чуточку трескучий, взволнованный голос, рассказывающий о недавно прочитанной статье о ее великом предке — Владимире Соловьеве. Ее мысли и слова были ясны и прозрачны, как и вся ее многотрудная бескомпромиссная жизнь, прошедшая в бесконечных заботах о людях и заступничестве за униженных и оскорбленных.

Она не боялась смерти и как будто в последние годы определенно была готова к ней. Мягкий соловьевский юмор и природная соловьевская стойкость перед лишениями и испытаниями всегда были ее спутниками.

Она с негодованием относилась к тем, кто выпячивал свое благородное происхождение, никогда не кичилась принадлежностью к великому роду. И в этом-то и был подлинный аристократизм души Натальи Сергеевны.



Наталья Сергеевна оставалась рядом со своим отцом — известным поэтом Сергеем Соловьевым — во время его заключения в Лубянке и Бутырках, в периоды его ссылок в психлечебнице. После смерти отца в 1942 году она сумела вопреки железному веку сохранить его архив.

Последние годы жизни полностью отдала наследию отца: подготовила большие публикации для «Нашего наследия», «Нового мира», «Знамени», «Шахматовского сборника», «Аквинох». Все они увидели свет при жизни Натальи Сергеевны. Последнюю свою публикацию — фрагмент из воспоминаний Сергея Соловьева — она отдала в «Накануне». До ее выхода в четвертом номере не дожидка несколько дней.

Стойкость природы и юмор не покидали Наталью Сергеевну до последнего дня. Когда «скорая» после тяжелейшего удара доставила ее в больницу, врачи спросили больную, как ее зовут. Наталья Сергеевна сказала: «Старуха Шапокляк».

За несколько часов до кончины она говорила самому близкому человеку о том, как хочет ходить по траве на рассвете и лазить по деревьям.

Так хочется верить, что, там, в надзвездных высотах, она теперь рядом с дядей Володи, о котором столько знала, хотя родилась после смерти его, с отцом, со спутником ее детства — Андреем Белым, с обожаемым ею Василием Розановым...

А здесь, на нашей грешной земле, память о Наталье Сергеевне сохраняют ее друзья, ее литературные единовещественники, многочисленные ученики, которым она дала дорогу в жизнь в Училище циркового искусства и в Институте культуры.

Газета «Накануне», 1995, № 5-6, с.3

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ И ВОПРЕКИ

Николай Бердяев размышлял в своем «Миросозерцании Достоевского» о пути свободно принятой Истины, призванной сделать человека окончательно свободным «...Путь этот, — утверждает философ, — лежит через тьму, через бездну, через раздвоение, через трагедию. Не прям и не гладок этот путь... Это путь испытаний, опытный путь, путь познания на опыте добра и зла...



Но нужны, дороги ли Богу те, которые придут к Нему не путем свободы, не опытным узнаванием всей пагубности зла?». Эти слова философа, как и другие его суждения о духовном рабстве и свободе, кажется, очень соотносимыми с судьбой Евгения Александровича Гнедина (1898-1983) и, в частности, с его небольшой по объему книгой «Выход из лабиринта», напечатанный в Нью-Йорке в 1992 году.



Евгений Гнедин. 1970-е годы

В январе 1988 года мне довелось познакомиться с женой Гнедина — писательницей и переводчицей Надеждой Марковной, с которой он был рядом более шестидесяти лет, и его дочерью Татьяной Евгеньевной. Прочитав взятые у них тексты диалогии Гнедина «Катастрофа и второе рождение» (Амстердам, 1977) и «Выход из лабиринта», понял, что эти произведения нужно печатать немедленно. Через некоторое время только что возникшая редакция журнала «Наше наследие», где я тогда работал, положительно отнеслась к публикации фрагментов из «Катастрофы». Но журнал «Наше наследие» начал выходить только летом, а отрывок из «Катастрофы и Второго рождения» вскоре появился в «Новом мире».

Надежда Марковна скончалась в 1991 году, так и не дожив до выхода книг Гнедина в России.

В 90-е годы вышли его большая работа о взаимоотношениях СССР с фашистской Германией, многочисленные известные и неизвестные его статьи, переписка и политическая полемика с современниками, наконец, пронзительные стихи (некоторые из них удалось опубликовать в парижской газете «Русская мысль»). Евгений Александрович Гнедин родился в 1898 году в Дрездене в семье известного деятеля российской и германской социал-демократии А.Л.Парвуса. С детских лет Гнедин (он принял эту фамилию в 1920 году) жил с матерью в России. Окончив в Одессе реальное училище, поступил в университет. Посетивший в те же го-



ды Одессу Валерий Брюсов заметил юношеские стихи Гнедина.

Будучи в молодые годы революционным идеалистом, Евгений Гнедин участвовал в первых боях гражданской войны под Одессой.

Его образование было продолжено на экономическом факультете Петроградского политехнического института.

В 1920-х годах он работал в центральном аппарате Народного комиссариата иностранных дел, занимаясь одновременно журналистикой. В 1930-е годы приобрел известность как один из ведущих отечественных журналистов-международников.

С 1931 по 1935 год, оставив службу в Наркоминделе, сотрудничал в «Известиях». Затем служил первым секретарем советского посольства в Берлине.

В 1937 году Гнедин занял ответственную должность заведующего отделом печати НКВД.

В мае 1939 года он через несколько дней после отставки Литвинова был арестован; его избивают в кабинете Берии, а затем — в особорежимной Сухановской тюрьме, но он не подписывает под пытками ни одного показания и виновным себя не признает.

Гнедин был приговорен к десяти годам лагерей, а после заключения сослан на «вечное поселение» в Казахстан.

Вернувшись в октябре 1955 года в Москву, занимался литературно-публицистической деятельностью, сотрудничал в «Новом мире» А.Т.Твардовского, был связан с правозащитным движением, тесно общался с А.Д.Сахаровым (дочь Гнедина — Татьяна Евгеньевна вспоминает, что Сахаров и Елена Боннэр часами беседовали с ее родителями в квартире Гнединых в Петровско-Разумовском проезде).

После высылки Сахарова в Горький Евгений Александрович считал своим долгом регулярно посещать мать Е.Боннэр Руфь Григорьевну, оставшуюся одной в квартире.

Дочь Гнедина свидетельствует о том, что отец иногда (как бы мимоходом) говорил ей: «Я не умею отступать».

В 1979 году Гнедин письменно заявил о своем выходе из КПСС. Последние два десятилетия жизни он жил напряженной политической жизнью. Его убеждения, его позиция были непреклонны. На панихиде по Гнедину в Боткинской больнице Л.К.Чуковская назвала его натуру лучезарной.

«Катастрофа и второе рождение» повествует о том, как Евге-



ний Гнедин, сначала романтический юноша, мечтавший о скором обновлении мира, позднее зрелый человек, с трезвостью и горечью оценивающий современность, обретает «новое рождение», независимое свободное мировоззрение в многотрудных испытаниях в тюрьмах, лагерях и ссылках. «Катастрофа и второе рождение» — книга фактов и их обобщений. «Выход из лабиринта», появившийся спустя пять лет, стал своего рода квинтэссенцией этих обобщений. И если «Катастрофа и второе рождение» — одна из лучших книг среди мемуаров узников сталинских застенков, то «Выход из лабиринта» — скорее заметное явление в контексте отечественной религиозно-экзистенциальной философии. В предисловии к нью-йоркскому изданию «Выхода из лабиринта» А.Д. Сахаров писал: «В центре внимания Гнедина — социологический и психологический анализ характера человека его поколения («красного» и «белого»), «эпохальный характер» (по использованному в мемуарах выражению Герцена) с его бескорыстной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к перерождению, которая приводит в «лабиринт». Добавим: и вопреки всему выводит из лабиринта.

В центральной главе «Выхода из лабиринта» «По ту сторону отчаяния» Гнедин утверждает, что обрести и укоренить в себе вольное самосознание помогли под спудом человеконенавистнических обстоятельств близкие ему общечеловеческие ценности. И насколько эти ценности христианской цивилизации (вера в Бога, в силу человеческого духа, любовь, Родина, искусство...) естественно предназначены к созиданию кристалла свободного самосознания, самой свободы, настолько они противостоят насилию в целом и своеволию как одной из его разновидностей. Ибо свобода — это зрелый индивидуальный прорыв к гармонии с самим собой и с миром в противовес окружающей ломке. Ибо своеволие — безумный порыв переиначить мир по подобию своего кричащего, бунтующего, зыбкого «я». Убийство и самоубийство — логически жуткие порождения своеволия. Своеволья, отторгнутого человеком и мыслителем Евгением Гнединым, во имя свободы и правды.



СВОЕЮ КОЛЕЕЙ

Он писал в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые. И до сих пор продолжает заниматься литературным трудом. Жизненные представления, общественные и литературные воззрения Генриха Горчакова никогда не совпадали с веяниями текущего десятилетия. Мог ли быть внутри шестидесятничества с его романтическим мифом о ленинизме, очищенном от сталинской деспотии, с его авангардистскими стихами у памятника Маяковскому

— он, в 1940-1950-е на семнадцать лет выключенный из московской жизни тюрьмами, каторгой и ссылками? И семидесятничество с его надломленным религиозным декадансом было Горчакову, человеку с трезвым и искушенным испытаниями взглядом, достаточно чуждо. Восьмидесятые, обрушившие вконец обветшалый строй и вернувшие массу годами несправедливо замалчиваемых имен, воспринимались Горчаковым как давно ожидаемая данность. И «девяностычники» с их подчас циничным неприятием слишком многих атрибутов прошлого не всегда находили понимание у автора публикуемых сегодня воспоминаний.

Может быть, Горчакова, упорно остающегося верным собственным интерпретациям общества, истории, поэзии (главного предмета его интересов), уместно метафорически сопоставить с айсбергом в бурно текущей реке времени.

Он и его вечная спутница учитель литературы и яркий критик Лия Горчакова неизменно остаются верны своей системе координат, своей логике, позволяющей иной раз совершать точные



*Лия и Генрих Горчаковы
во время одного из литературных вечеров
в своей московской квартире.
Начало 1990-х годов*



предсказания. Примерно в 1980 году в разговоре со мной Горчаков сказал о том, что в числе итогов социализма в России будет и кастрюля за 500 рублей, которую люди, почесав в затылке и сэкономив на колбасе, пойдут покупать (куда денешься?). Тогда было трудно представить себе, что за этими мимоходом брошенными словами, казавшимися просто парадоксальными, стоит предвидение реформ по Егору Гайдару.

Кажется, только одна сила властна над Генрихом Горчаковым — его «внутренняя тревога». Размышляя в неопубликованной работе о стихотворении Марины Цветаевой «Письмо», он обобщает: «Так жду письма» — нет, она ждет писем, она и описывает не это, а вообще письмо каждое... «Так ждут конца» — она ждет не конца, а обратного — спасения. Возможности и дальше быть... Ждет она не ответа «да» — «нет», а чар. А чары для нее — в словах. Она любила называть себя словесницей. И не только потому, что она была мастером слова. В словах для нее заключались и чувства, и поступки, и весь человек». Так пишет Г.Горчаков, который по воле своей «внутренней тревоги» и сам всегда ждал «писем», ждал соучастственного, сочувственного, проникновенного слова-отклика, ждал долгими десятилетиями первых публикаций своих эссе о поэтах и воспоминаний.

Он родился в 1919 году. В 1938 году его отец — член Московской коллегии адвокатов — был арестован и вскоре расстрелян. В том же году Генрих Горчаков поступал в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). Сдал экзамены на «отлично», но в приеме в институт ему отказали. Документов не забрал. В МИФЛИ зачислили без вступительных экзаменов в 1939 году, после многочисленных хождений по инстанциям. В начале войны, несмотря на «белый билет», добровольцем ушел на фронт. В 1942 году был демобилизован из армии по здоровью и поступил на 3-й курс Литературного института им.М.Горького. В связи с романом «Одиннадцатое сомнение», предложенным в качестве диплома, исключен из комсомола, из института, после чего 17 апреля 1944 года «случайно» арестован на улице. Его дело было объединено в одно со схваченным ранее студентом Литинститута Аркадием Белинковым, который спустя два десятилетия стал известным историком литературы, а впоследствии эмигрантом. Горчакова осудили Особым совещанием (заочно) по ст.58, п.10 (ч.II) и п.11 на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание полтора года на Лубянке и в



Бутырках, в Мариинских лагерях в 1945-1949 годах, в Берлаге на Колыме в 1949-1951 годах, затем находился в ссылке. В Москву вернулся в 1960-м, но был реабилитирован только в 1963-м...

До конца 1980-х годов у него, пожалуй, не было даже и помыслов печататься в тогдашних условиях и тогдашних изданиях. Благодарными слушателями работ Горчакова стали молодые люди, в том числе те, кто когда-то учился у его жены, много лет преподававшей литературу в школе. Устные чтения устраивались как только завершались очередные эссе. Их основная черта — естественное сочетание художественного «полета» с историко-литературной точностью. Темы исследований были связаны с Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, Блоком... Но одним из главных трудов Горчакова в 1960-1980-е годы было освоение истории души (как он сам определяет) Марины Цветаевой. Несколько его больших работ о Цветаевой теперь опубликованы за рубежом. В России появились фрагменты воспоминаний.

До середины 1980-х годов у Г.Горчакова не было возможности доставать зарубежные издания, необходимые для работы. Изю дня в день он переписывал в спецхране Ленинской библиотеки многочисленные книжки и публикации Цветаевой, от корки до корки воспроизводил тексты собрания очень близких ему стихотворений Софии Парнок («Ардис», 1979), собрания стихотворений Ходасевича (Мюнхен, 1961)... Дома переписанное от руки перепечатывалось, вычитывалось, переплеталось и происходило как бы новое трудное рождение книги. В 1981 году Горчаковы подарили мне такое собрание стихов Ходасевича и тем самым во многом побудили меня вплотную заняться изучением творчества этого поэта.

Небольшая квартира Горчаковых собирала на домашние чтения иной раз и 30, и 40 человек. К этим встречам готовились не только хозяева, но и слушатели, которые заранее прочитывали и анализировали материалы, использованные в новой работе. Круг слушателей был самым разнообразным: литературоведы, журналисты, инженеры, математики, врачи, студенты; люди религиозного склада и люди совсем светские...

О своей работе над тюремными и лагерными воспоминаниями Г.Горчаков стал упоминать только лет шесть назад, хотя писал их с перерывами с начала 1960-х годов.

Один из ныне здравствующих писателей, познакомившись с ними, откликнулся: «...лагерная, но жизнь». Пожалуй, эти слова



очень точно передают особенность взгляда мемуариста на сталинские «места не столь отдаленные». Он, в отличие от других бывших узников, рассказывает главным образом не о пытках, побегах и тому подобных событиях, а именно о повседневном течении суровой и изнуряющей лагерной жизни. О лагерных буднях.

Газета «Сегодня», 15 февраля 1994, с.9

P.S. Так случилось, что Горчаковы, по принципиальным соображениям остававшиеся на Родине в глухие брежневско-андроповские годы, были вынуждены летом 1994 года покинуть Россию по частным обстоятельствам — спасая внука. Но т а м — на Земле обетованной — они болеют душой за все, происходящее з д е с ь. Т а м, наконец, увидели свет две книги мемуаров Генриха Горчакова, выходит свежая и острая публицистика Лии Горчаковой.

НЕ ТОЛЬКО О ПОЭЗИИ, А ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ПОЭТЕ

Появление книги о поэте в наши дни — явление совсем не частое. Тем паче, когда книга, написанная в России, ныне выходит за ее пределы. И вот передо мной сигнальный экземпляр труда Генриха Горчакова «О Марине Цветаевой. Глазами современника», только что выпущенного в США издательством Antiquaru.

Автор книги не знал поэта лично, родился на без малого три десятилетия позже Цветаевой, репрессирован же был всего три года спустя после ее смерти в Елабуге.

В подзаголовок своей книги он вынес емкую многозначительную формулу: «Глазами современника». И, полагаю, правота автора здесь зрима, ибо он ощущает Марину Цветаеву своим современником, поэтом дня сегодняшнего, утверждает, что она дерзновенно опередила свое время, что во многом и определило трагичность ее судьбы. «...Цветаева — зная себе цену — постоянно ощущала себя вытесняемой своим временем. Марина Цветаева вытеснялась потому, что постоянно перерастала поэтичес-



кое сознание своего времени». Не случайно, что в начале 1920-х годов Валерий Брюсов, а в конце 1930-х годов Корнелий Зелинский воспрепятствовали выходу в России цветаевских книг, одинаково назвав их «несвоевременными».

Поэт, противопоставлявший себя своему жестокому веку, во многих отношениях выразил его дыхание в своем пути, как бы на десятилетия опередив движение времени.

Книга Горчакова — это книга синтетической прозы о поэте. Это художественная литература о литературе, созданная живым языком, в сочетании с научным анализом текстов. Жанр редкий в нашем многострадальном Отечестве, и, думаю, в предшествующие десятилетия исчезнувший из российской словесности едва ли не вовсе. С одной стороны, исследования о поэтах были представлены размышлениями над «закрытой» книгой по отработанным в традиционном «литературоведении» алгоритмам, а иной раз попытками оригинального самоцельного философствования, к которому не более чем поводом являлись тексты художественных произведений. С другой стороны, имели место спецификаторские, тяготеющие к формальным, наблюдения над особенностями и деталями литературной «ткани».

Книга Горчакова, составленная из восьми работ, написанных в 1980-е годы, представляет собой естественный организм вживания ее создателя в «историю души» Марины Цветаевой. «Я стал заниматься Мариной Цветаевой, потому что хотел осознать то главное, что она сказала за меня». Мысль для сухой хрестоматийной литературоведческой науки абсолютно неприемлемая. Но сознание автором книги его духовной близости к поэту — не голая декларация, ибо в данном случае оно подкреплено многолетним собиранием цветаевских материалов, и прежде всего скрупулезным разнообразным разбором ее стихотворений, прозы, писем. Чрезвычайно важная черта книги Горчакова в том, что она не только о произведениях поэта и даже не только о поэзии, а прежде всего о Поэте — Марине Цветаевой, не понятой и не признанной большинством знавших ее современников, не пережившей при жизни периода общественной славы, пристрастно интерпретируемой долгие годы после ее кончины.

О Цветаевой, явившей в своем раннем «Вечернем альбоме» мир свободной игры русалок, дофинов, царевен, диванов-кораб-



лей. Цветаевой, осознавшей в сборнике «Юношеские стихи» неприкаянное одиночество, «жар души», пронесенный через всю жизнь. О Цветаевой, для которой мотив бытия души был важнейшим в ее зрелом творчестве.

«Поэзия Марины Цветаевой не отрицает одиночество души, — пишет автор книги. — Наоборот, она это одиночество утверждает. Но из слабости она превращает его в силу. Для души нет понятий жизни и смерти, гибели или спасения. Для Цветаевой значимы только одни понятия: души и без-душия». Это — книга о поэте, всю жизнь ждавшем сочувственного, соучастственного слова-отклика в стихах, переписке и в жизни каждодневной. Книга о трагедии поздней Цветаевой и ее истоках, сокрытых еще в детских годах, — во взаимоотношениях с матерью.

«Правда... по цветаевскому кодексу, — любовь. Любовь всегда права. Бог грехи простит, но не измену душе».

Воочию видит читатель, что крайнее бунтарство Цветаевой обращивается для нее не отрицанием совсем, а утверждением:

Я — это да.
Да — навсегда.
Да — вопреки.
Да — через все!
Даже тебе
Да кричу, Нет!

И выводы работ Горчакова, их цельная концепция произрастают по преимуществу из внимательного прочтения текстов и их вдумчивого многоаспектного осмысления, начисто лишённого как наукообразия, так и стремления потрафить непросвещенному читателю.

Эмиграция Цветаевой, ее возвращение, евразийство ее мужа, непроясненный до конца характер его деятельности в 1930-е годы... Все это не только породило и порождает множество слухов и кривотолков вокруг Цветаевой, но и стало соблазном для некоторых ее биографов как в России, так и за рубежом интерпретировать ее судьбу с точки зрения тех или иных идеологизированных установок, что неминуемо ведет к вивисекции организма поэта.

Полагаю, что книга Генриха Горчакова — пример бережного, тактичного отношения к жизни и творениям мастера слова. За ее строками не только многолетние наблюдения за творчеством Цветаевой, но и драматичный личный опыт ее создателя, обре-



ченного после возвращения из сталинских лагерей и ссылки почти три десятка лет работать «в стол».

Часть небольшого тиража, недавно изданного в США, труда будет доставлена в Москву и, хочется надеяться, станет доступна заинтересованному читателю.

Газета «Сегодня», 19 апреля 1994, с.9

ЛОХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Как я ждал этого романа... Иногда в последние смутные годы открывал толстые журналы. Тщетно начинал читать прозу — не мог дойти и до середины. Признаюсь, впрочем: в самое последнее время уже и не ждал. Надежда на встречу с Романом спряталась внутрь. Даже точила мысль, что разучился вчитываться в прозаические строки. Многое казалось каким-то рационально сконструированным, вымученным едва ли не полуизможденным мозгом, способным коснуться лишь периферии души, Мозгом, иной раз вяло зацикленным то на преходящих физиологизмах, то на бытовухе.

И вот «Октябрь» (1995, ^о 2). «Лох» Алексея Варламова. Роман, которым именно живешь от первой до самой последней страницы. Проза, которой, оказывается, не могло не быть, ибо есть наша многопечальная жизнь. «Лох» Варламова — это юдоль наша, страсти, скорби и метания душ, кровоточащие раны тех, кто осознает себя в пространстве и времени, имя которым — Россия.

До чего же судьба Идиота уходящего железного века Сани Тезкина — наша вся до всепоглощающей боли. Саня Тезкин — спутник читателя с самого рождения в 1963-м до смерти своей за три месяца до тридцати. Он уходил из жизни и в девятнадцать лет от физических мук армейских в далеких степях, и любимая его Катя заплатила за спасение солдата-мученика всем, чем только могла заплатить. И эта плата развела их судьбы на долгие годы.

Тезкин, помимо воли своей смерть поправший, всю оставшу-



юся жизнь идет над суетой житейской, над амбициями каждого дня, до основания раскачавшими мир и закружившими людей в пляске оборотней. Путь Сани — не позиция, не мировоззрение. Это история его души, естество его неприкаянного, неумирающего духа. Тезкин словно смотрит на читателя ОТТУДА, будто здесь он — гость из «звездной» ВЫСОТЫ. Но и там, на высотах, не только горний ангелов полет. Там — тоже бытие, там тоже гудит и рвется изнутри.

И вроде как оттуда глядит Саня на московскую жизнь и видит ее вместе с Алексеем Варламовым невероятно достоверно. Наверное, создатель «Лоха» ощущал на себе столичный пульс семидесятых-восьмидесятых: молодежь этих лет, бары с «Отелем «Калифорния», эстетские тусовки, религиозные искания, университет, студенчество... Все до боли знакомые и точные картины ушедшей эпохи.

И в итоге этой эпохи — «корчившаяся в судорогах распада страна», где убивают уже прямо на улицах, открыто и не таясь, где идут стенка на стенку, обольщаясь прохиндеем-«демократом» или дубиноголовым «патриотом», где грохочут и стреляют танки, где вереницы профессиональных нищих, а вокзалы и аэропорты забиты тысячами беженцев.

Здесь обречен на смерть и умирает Обломов нашего времени — Саня Тезкин. Здесь в конце концов не находит себе применения Штольц нашего времени, сердечный друг Тезкина — Лева Голдовский.

Перевернута последняя страница романа, пронзительного и, кажется, страшного своей апокалипсической безысходностью. Нет же! Мы еще живы, потому что жил среди нас Саня Тезкин, жил вопреки железному колесу. Жива русская литература, ибо в середине 1990-х явила нам роман — продолжатель традиций Достоевского, Бунина, Платонова...

Роман, без которого, так хочется верить, не обойдется будущий историк русской словесности.



НЕОСТАНОВИМЫЙ ПУЛЬС СУДЕБ

Казалось, случайно занесло меня в 1983-м в отдел публикаций ЦГАЛИ (ныне — РГАЛИ). Недавнего студента (к тому же «идеологически не шибко благонадежного») одного из филфаков Москвы в редакциях тогдашних журналов и газет, понятно, не ждали.

Философия Владимира Соловьева и Бердяева была запретным плодом нашей юности. С конца 1970-х я оказался среди людей, многих из которых прессинг системы попросту выдавил куда-то на задворки из официальной литературной жизни. Там, на задворках, впрочем, и протекала жизнь подлинная: шло живое, бесконъюнктурное осмысление отечественной литературы и философии последнего века. Читали книжки «посевские», «ИМКА-прессовские», «чеховские», наш московский самиздат. Не только читали, но и писали исследования, статьи, эссе и обсуждали их. Не в конференц-залах академических институтов, а в малогабаритных квартирах и на кухнях бережно охранялась ниточка реальной культуры, все-таки оказавшейся востребованной в конце 1980-х годов.

Итак, ЦГАЛИ

Поразительно, но принудить к лжеинтерпретациям архивистов, работавших непосредственно с подлинными документальными источниками, было практически невозможно даже в самые демагогические периоды брежневского правления. Требовали, конечно, переводить ряд материалов на специальное хранение. Разумеется, все подготовленные к печати издания тщательно просеивались сквозь сито цензуры. Но сами по себе источники, описанные и занесенные в каталог, были неподвластны никакому внешнему вмешательству.

Помню первую свою встречу в ЦГАЛИ с документами личного происхождения — письмами Валерия Брюсова к историку литературы Владимиру Саводнику. Отчетливый, ясный почерк Брюсова; сдержанное, лаконичное, но емкое изложение мыслей. Их публикацию я подготовил в очередной выпуск «Встреч с прошлым», сборника, имевшего огромную популярность у читателей.

Судьба одарила меня возможностью изучать столь любимый



серебряный век и притом не под спудом тогдашних вузовских и академических псевдодогматов, а живым проникновением в судьбы мастеров слова.

Наверное, есть два типа архивистов-публикаторов. Я понял это еще в ЦГАЛИ. А в дальнейшем правомерность сего подтвердило и постоянное общение со специалистами-источниковедами во время работы в журнале «Наше наследие» и в других изданиях.

Для одних (знатоков истории) важен сам по себе документ как неповторимый факт, как ослепляющие на миг штрихи, так или иначе пополняющие представления о времени.

Гораздо реже приходилось встречать тех, для кого архив — это средство постижения «истории души», как говорила Марина Цветаева.

Я участвовал в подготовке *Летописи жизни и творчества Александра Блока*.

Идея *Летописи* принадлежала Кларе Николаевне Суворовой, для которой в ее каждодневном труде главное была блоковская «идея пути», «вочеловечения» поэта, рождения «художника, мужественно глядящего в лицо миру». Сколько труда и сил отдала она *Летописи*!

Творения Александра Блока, его дневники и записные книжки, его обширная многолетняя переписка, свод свидетельств о поэте, материалы архивов Москвы и Санкт-Петербурга и редкие печатные источники — все это легло в основу скрупулезного и обширного научного описания. Задуманное Суворовой было несопоставимо по широте охвата со всеми ранее появившимися летописями и хрониками жизни и творчества писателей и деятелей культуры.

Клара Николаевна безвременно ушла из жизни 24 мая 1992 года. С 1987 года она страдала изнуряющей смертельной болезнью, но продолжала работу над своим трудом о поэте до самых последних месяцев. Даже в самом облике и в осанке ее было что-то напоминающее Александра Блока. Сотни и сотни фактов из сокровенной жизни, собранные воедино, между прочим, наглядно свидетельствуют о том, что в биографии поэта исключительно все мо-



*Клара Суворова.
Конец 1980-х годов*



жет и должно быть доступно читателю. В те годы ко мне пришло осознание того, что судьба настоящего Мастера всегда еще более значима, чем его творения. К тому же проникновение в одну биографию через многочисленные материалы неминуемо ведет к обращению к судьбам многих других современников.

Само понятие «архив» с годами стало для меня обозначать не то или другое учреждение и даже не определенные комплексы источников. Архив — это перекресток судеб, живой пульс спутников, покинувших бранный мир, но оставивших после себя свое слово на пожелтевших листках бумаги.

Это касается не только обретших славу прижизненную или признание посмертное. Любые дневники, любая переписка (особенно «из души и прямо в душу обращенные слова») — это вечное дыхание тех, кто прошел через наш мир...

Встречи со спутниками

Архив — это и перекресток судеб ныне здравствующих и ушедших. В конце ноября 1985 года на первых Блоковских чтениях в Шахматове, посвященных 105-й годовщине со дня рождения поэта, мне случилось познакомиться с Натальей Сергеевной Соловьевой. Внучатая племянница Владимира Соловьева, дочь поэта Сергея Соловьева, она считала главной целью своей жизни сохранить автографы стихотворений и воспоминаний своего отца, создала комментарии к его неизданным произведениям. Не предполагала даже, что доживет до их опубликования. Но, слава Богу, сие свершилось...

А вот подруги дочерей Василия Розанова Лидия Даметьевна Баранова и Нина Терентьевна Харитоновна так и не дожили до публикации сохраненных ими воспоминаний Надежды Розановой об ее отце, о семье Розановых, об их эпохе. Н.Т.Харитоновна незадолго до смерти попросила меня их напечатать. Надеюсь, что это ее завещание будет исполнено.

Бережно хранит архив своего отца правозащитника, философа и публициста Евгения Гнедина его дочь Татьяна Евгеньевна.

Далеко, в Йельском университете, — рукописное наследие Владислава Ходасевича эмигрантского периода. Туда его передала покинувшая в 1922 году Россию вместе с поэтом ныне покойная писательница Нина Николаевна Берберова. Мне, готовившему к изданию две книги Владислава Ходасевича, довелось беседовать с ней



во время ее приезда в Москву четыре-пять лет назад. Так хотелось услышать о поэте из уст близкого ему человека! Но Нина Николаевна говорила не о нем в связи с собой, а о себе в связи с ним.

1987-1988 годы многое изменили в судьбе литературных архивов. Часть из того, что десятилетиями было достоянием наследников, архивистов и собирателей частных коллекций, стало доступно заинтересованному читателю. Казалось, обрели новую жизнь личные фонды ЦГАЛИ, Пушкинского Дома, других архивов...

Сегодня у перекрестка судеб снова нелегкие будни в своем Отечестве: где средства, столь необходимые для нашей культуры?

Газета «Первое сентября», 26 мая 1994, с.3

ВО БЛАГО РУССКОЙ СВОБОДЫ

Я познакомился с Александром Гинзбургом не так давно — в 1992 году. Для меня он никогда не был Аликсом, хотя так его называли не только сподвижники по правозащитному движению, но и зеленая молодежь, пытавшаяся в первой половине 90-х годов приобщиться к парижской газете «Русская мысль». Гинзбурга в силу естественности его натуры, впрочем, мало волновало, как и кто его называет. Александр Ильич Гинзбург в то время был «генератором» «Русской мысли». Приезжая в Москву из Парижа, он останавливался в квартире на Земляном валу, куда непрестанно шли люди с материалами для газеты. Александр Ильич уделял



*Александр Гинзбург.
Начало 1990-х годов*

время каждому и, в отличие от советских редакторов, почти всегда при авторе прочитывал материал и, не лукавя, прямо говорил «пойдет или не пойдет». (Классическим образчиком редактора, до бесконечности читающего несколько страниц и



подчас недочитывающего их, сейчас является главред «Дружбы народов» А.Эбаноидзе).

Начало разбойной ельцинской эпохи для творческих людей было временем жестокого безденежья и свалившихся, как снег на голову, проблем с публикациями, потому что рынок захватили бездарные бульварные и порнографические СМИ. В этом смысле «Русская мысль» стала не только литературной отдушиной. Гинзбург привозил в Москву гонорары за вышедшие публикации. Надо сказать, эти гонорары многократно превосходили деньги, выплачиваемые тогда как олигархическими газетами, так и марзматиическими мужскими и дамскими журналами-однодневками в сверкающих обложках. Александр Ильич не забывал «одарить» никого из тех москвичей, кто побывал на полосах парижского издания. Вольно или невольно он помог выжить ряду людей в 1992-1993 годах.

Гинзбург никогда не был напыщенным либералом, не важничал перед молодыми и неопытными, не изображал дутого тщеславия. Он не любил Синявского и Розанову за их манерность, высокомерие, за панибратство с Пушкиным и Гоголем, за эстетский стеб, который, по сути, был все тем же барством, заимствованным у крепостников и советских бюрократов.

Когда в 1992 году в «Русской мысли» вышла ругательная рецензия молодой литературоведши на сделанную мной книжку Ходасевича, я позвонил Александру Ильичу в Париж. Гинзбург говорил в том смысле, что каждый имеет право высказаться; в этом и состоит отличие свободной прессы от несвободной. Он предложил мне написать ответ на рецензию и незамедлительно его напечатал, а потом напечатал ответ литературоведши на мой ответ и мой ответ на ответ литературоведши... Только теперь я понимаю, что, возможно, так Александр Ильич учил нас, вышедших из стен неповоротливой советской печати, цивилизованным свободным нормам. С тех пор и началось наше не тесное, но достаточно теплое знакомство с Гинзбургом, продолжавшееся несколько лет.

С середины прошлого десятилетия поползли слухи о том, что отношения Гинзбурга и главного редактора «Русской мысли» Иловайской-Альберти становятся все напряженнее, а потом Гинзбург ушел из «Русской мысли», хотя для многих авторов он и



его газета стали синонимами. Представителем парижского издания в Москве назначили местного богослова, далекого от газетного дела. Сейчас Иловайской нет в живых, как нет на свете и Гинзбурга.

А. И. Гинзбург вписал свои значимые странички в историю общественного движения и отечественной культуры. Он вписал их своей мученической жизнью и тяжелым непрерывным трудом во благо русской свободы. И если даже русской свободе не бывать никогда, она в полной мере жила в Александре Ильиче Гинзбурге. В Аликe.

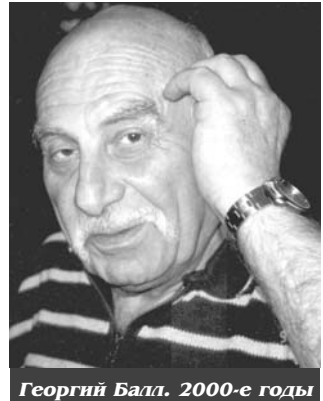
Газета «Информпространство» 2003, №3, с.22

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ВЕТЕР

В жизни каждого человека бывают знакомства, которые сродни глобальным открытиям в жизни всей цивилизации. Таким, как возникновение паровоза, железной дороги, радио или телевизора. С самого детства я проводил лето по соседству с Георгием Александровичем Баллом, а познакомиться случилось только летом 1999-го.

Когда много лет занимаешься историей русской литературы, то вольноневольно большей частью общаешься с текстами, а через них и вслед за ними узнаешь писателя. С самими н а с т о я щ и м и писателями встречаешься редко — хотя бы по той простой причине, что значительнейшая их часть стала достоянием истории, достоянием литературного процесса. Ибо люди рождаются и умирают. С Баллом получилось совсем иначе: сначала мы общались и разговаривали, а потом я прочитал сборник его рассказов «Верх за тишиной». С тех пор наша дружба перемежает теплые встречи и прочтение новых вещей писателя.

Его удивительная черта — постоянное состояние зрелой молодости, несмотря на возраст. Это обусловлено тем, что в



Георгий Балл. 2000-е годы



преклонные годы Георгий Балл пережил трагедию, которая заставила писателя едва ли не начать жить сначала. Но и сама природа Георгия Балла ассоциируется со свежим пред-рассветным ветром, разгоняющим летнюю духоту. Можно сказать, он неизменно самообновляется, и исток тому его каждодневная литературная работа. А другой исток — неустанное общение с людьми, сопровождающееся проникновением в ритм их сердца. Ведь на свете нет ни одной живой пульсации, совпадающей с другой. Балл не только способен услышать сердечный ритм каждого собеседника, но, кажется, он наделен даром запоминания и воспроизведения исключительно любого пульса.

Мои любимые его рассказы — о смерти. Таких произведений у Балла немало. И ими писатель настойчиво говорит, что смерти нет в том смысле, что она тоже жизнь, что она одна из двух главных точек отсчета природы. Через осознание таинства рождения невольно проникаешь в ту ткань, где сливаются дух, душа и плоть. Куда труднее осознать то же слияние через таинство смерти, тем более смерти безвременной или насильственной. Георгий Балл пытается сделать это в ряде своих произведений, проявляя через трагедию ухода сущности психики, социума, эроса, этноса, сиюминутного и вечного.

Судя по всему, Мастер вызревал в Слове неторопливо и постепенно. Представляется, что эпоха гигантов, сложивших свой литературный путь к тридцати или сорока годам, осталась в прошлых столетиях. После тех гигантов писателю осилить свой неповторимый предначертанный путь может помочь не только дар, но каждодневное ремесло до семи потов.

Я думаю, многолетнее сочетание Дара и Ремесла обнажило у Балла свойство видеть то, что многие не видят, слышать то, что многие не слышат. И научило его предвидению в отношении знакомых людей.

Все, что он сделал или совершит в литературе и вне ее, освящено неизбывной теплотой его натуры.

Уже сейчас некоторые его произведения включают в хрестоматии, на лекциях в вузах анализируются его рассказы. И это, конечно, не случайность, а знак литературного процесса нашего дня. Знак, которому, я уверен, не суждено затеряться.



НЕ ОПУСКАЯ ВЗГЛЯДА

Книга Ефима Бершина «Осколок» (М., ОГИ, 2001) осязается как поэтическое слово именно XXI века. У Бершина есть то, что если и было в русской лирике XX века, то никогда в ней не доминировало. В книге, включающей стихотворения разных лет, присутствует сверхжесткое отношение к миру, к чувствам и к самому себе, которое ни в коем случае не перепутаешь с жестокосердием. Мироззренческая трезвость Ефима Бершина не нуждается ни в романтической иронии, ни в самоиронии, ибо его воля и энергия позволяют поэту смотреть на мир, даже на мгновение не опуская взгляда, и беспощадно говорить о себе:

Мой мир — обочина,
 кювет.
Но хищно, как волчица,
Я буду каждой шине
 вслед
нестишь и волочиться.

В одном из стихотворений Ефим Бершин задается вопросом «с кем и где я?» Но этот вопрос — по существу, один из главных для русских поэтов XIX-XX веков — у Бершина звучит риторически. Поэт нового столетия (он же журналист, прошедший Приднестровье и Чечню, человек определенных мировоззрений и позиции) в исчерпывающей полноте видит свое место в сегодняшнем, а значит, во вчерашнем и завтрашнем днях. Он и не скрывает, что «подслушал» репетицию «сотворения мира». А в силу того за Бершиным остается естественное право сказать:

Если можешь,
начинай сначала
 эту жизнь.
А я начну — с конца.

Не каждому дано не только увидеть разверзшийся мир, но и зафиксировать пропасть камерой души, пропустить через себя время, где «уже почти неразличимы» «Божий гнев и Божья милость», а следом найти для увиденного поэтическое слово. У Бершина есть слова, само произнесение которых и есть выдер-



жанное им испытание.

Луну зарезали под утро,
в шестом часу,
в канун Покрова.
Как перевернутая урна,
валялось небо у парома.

В одном из стихотворений у него появляется «яблокопад» — слово, только им извлеченное из языка. И вновь Бершин находит в себе силы, и «яблокопад» преобразуется в яблочный Спас. Так и ранящие его сердце осколки из книги «Осколок» переплавляются в кристаллы определенной формы. Для этого поэт живет и пишет не первое десятилетие. Та же книга дает понимание, что до недавнего времени лучшие произведения Бершина опережали свои даты. Теперь XXI век законно вступил в свою вотчину, поэт стал ровесником эпохи, и ее пасть бессильна перед его «я».

В стихах Бершина нет фальшивой ноты, как и нет ничего лишнего. Все емко, прозрачно и в то же время задевает сердце («Снег идет, крадется и занозит душу, словно нищенка с сумой»). Наверное, Ефим Бершин не лукавил, когда крикнул:

Знаешь, друг,
давай стихи зароем,
по-собачьи разрыхляя
снег.
И — на четвереньки,
И — завоем,
возвещая
двадцать первый век.

И все-таки воля, энергия, центростремительность мысли поэта свидетельствует о невозможности отказа от поэтического жизне-строительства. Потому что он давно привык в странствиях между воронок, дышащих «струпьями огня», оставаться самим собой. Это и есть удел российских поэтов. И в этом смысле Ефиму Бершину сродни не только XXI век, но и столетия Лермонтова и Блока.



НА ЛИНИИ ВЕКА

Наверное, пришло время для певучих поэтов. Открыл книгу стихов Евгения Минина «Линия крыла» (Иерусалим, 2002) и сразу понял: это — поэзия взявшего свой отсчет нового века. Его стихотворения — ясные, простые и сердечные. В них трудно найти не только лишнее слово, лишний изыск придётся разыскивать под микроскопом. Его стихи — песни души автора, но и сами его стихотворения поют.

Чем-то хорошо, а чем-то плохо: русский литературный язык и наш язык разговорный почти слились в единый поток, а потому и нынешней поэзии суждено слиться с песней.

Перед Израилем уроженец Невеля Псковской области Минин жил в Витебске. Считает, что начало его лирики — на Псковской земле. На Землю Обетованную уехал после Чернобыля спасать своих детей от последствий катастрофы. Думал, что едет доживать отпущенный срок, а случилось так, что вдали от России окреп и кристаллизовался его самобытный поэтический голос, проявилось «лица необщее выражение» его музыки. Теперь, по его словам, он уже не может не писать, так же, как все мы не можем не дышать. Давно известно, что упругая ясность стиха (но не лубочно-наивная простота) всегда достигалась работой до семи потов.

Тем более в наши дни, когда ритмы времени все более сжимаются, а настоящая поэзия теперь «пружинит», опережая само время.

В последнем цикле Евгения Минина его стихи не только поют. Они живут в своей молитвенно-неторопливой, но четкой поступи, обращаясь к первоистоку. Здесь, кажется, невольно подхвачена традиция Х.Н. Бялика.

Надеюсь, публикации стихотворений поэта в России станут началом для долгой жизни его творчества на родине языка великой литературы. А россиянам случится прочесть, услышать и даже запеть Минина...



ЧЕЛОВЕК-ФОТОВЗГЛЯД

Его зрачок каким-то непостижимым образом схватывает именно суть того или иного человека или явления.

Скоро одиннадцать лет нашему знакомству с кинодокументалистом и фотохудожником Яковом Назаровым. Его этюды помещены в многочисленных газетных и журнальных публикациях; на основе его работ создан один из лучших альбомов к последнему юбилею Москвы. Главная особенность его природы — совсем иное зрение, чем у всех нас. А фотообъектив в случае с Назаровым выступает доказательством чудесных свойств его глаз. Все без исключения фото-портреты Назарова — это слепки с души изображаемого. Похоже, помимо неповторимых свойств восприятия, фотохудожник наделен теми медицинскими характеристиками аппарата зрения, которые позволяют с лету поймать невидимый обычными глазами переход от телесной к нетварной энергии.

Яков Назаров наделен спасительными для него и окружающих добродушием и какой-то легкой теплой рассеянностью. Что было бы, если бы его почти мистическое ощущение мира не сопровождалось этими чертами характера?

Его нестандартное мирозрение (по отношению к нему это понятие звучит абсолютно буквально) не только дает силы фотохудожнику, но, слава Всевышнему, помогает преодолевать жестокие болезни. Он во всем не такой, как многие из нас: и в облике, и в манере жить, и в умении терпеть, преодолевать и идти дальше.



*Одна из современных фоторабот
Якова Назарова*



ДЕНЬ ОТЦА



*Офицеры-гвардейцы Н. Данильченко
и М. Бень (справа) под Берлином.
Май 1945 года*

Для многих из нас День Победы — не абстрактный выделенный день в календаре, как ряд других праздников. День Победы — это день памяти о близких: ушедших и живых. Это — день преодоления страшной войны, в которой наши фронтовики оказались сильнее гибели, крови и боли, пронеся тяжелый труд военных будней через годы состояния между быть и не быть.

Я силюсь увидеть войну глазами моего отца — офицера-сапера, за плечами которого десятки разминированных полей, каждое из которых осталось позади как преодоленная смерть. «Минёр ошибается один раз», — говорил он и показывал бы-

стрый танец кистей рук, нужный при контакте с миной. Одно неверное движение — и ошибка не повторится никогда.

От отца я слышал про окопную жизнь и после его скупых рассказов отношусь ко многим повествованиям о ней с недоверчивостью. Он говорил, что постоянно благодарил судьбу за каждый прожитый день, а к смерти были готовы на передовой каждую минуту той войны, особенно на Сталинградском фронте. Там, в Сталинградской мясорубке, на глазах отца у его фронтового друга Вани Рыкова оторвало голову, там у станции Воропоново на разминировании полег его взвод, а сам взводный чудом выполз из ада.

Всю оставшуюся жизнь после войны отец вечерами перебинтовывал полотенцем голову после последствий тяжелой



контузии. Были ещё два ранения. В автобиографиях мирного времени он писал одну и ту же емкую формулировку: «В боях за Родину дважды ранен, контужен». Боевых наград за ратный труд было столько же, сколько увечий — три. Зато какие: орден Красной Звезды — знак окопников, медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Представляли к Александру Невскому — да позабыли... Отец говорил, что на фронте никогда не высовывался. Когда «желающим умереть» предлагали выйти из строя, он рокового шага не делал... Работал на войне изо дня в день ответственно и основательно, последовательно доводил дело до искомого результата, при этом не забывая о необходимости бороться за жизнь.

От него можно было услышать, что много сил на фронте уходило не только на саму войну, но на обустройство солдатских будней. Отец рассказывал, как в любую погоду они раздевались догола и с головы до пяток растирали друг друга бензином, чтобы вывести вшей. Когда не хватало махорки, набивал трубку ватой или паклей. Такое непотребное курево оказалось врагом организма в одной упряжке со злым фашистом. Отец всю жизнь хранил кисет с вышитой надписью «на память М. Беню от двух Валентин», подаренный ему в казачьей станице сестрами Валентинами. Он был для него не только чем-то вроде фронтового талисмана, но и атрибутом какой-то вдохновенной молодой радости. После войны в том кисете он держал свои окопные награды.

В Польше, если не ошибаюсь, рядом с Краковом, наши освободили концлагерь. Эта встреча со страшной машиной смерти произвела на него невероятное впечатление. Он смотрел на освобожденных узников и плакал. Среди них оказались и чудом выжившие польские евреи. По-видимому, поняв, что старший лейтенант одной с ними крови, они притащили к нему еврея-предателя, служившего в концлагере надсмотрщиком в еврейских бараках. Отец не выдержал и наотмашь сильно ударил его по лицу. Война унесла жизни его родителей, родственников, товарищей. Не вернулся с фронта сердечный друг детства, земляк из подмосковных Химок Федя по прозвищу Большая голова. До конца жизни отец не мог слышать даже по радио немецкую речь и немецкие песни.

9 мая Михаил Бень любил, наверное, больше своего дня



рождения. Заранее созванивался с фронтовым товарищем Николаем Данильченко (у меня хранится их фотография, сделанная под Берлином в конце войны). В День Победы вставал ни свет — ни заря, гладился, чистил до блеска ботинки и ехал в Парк культуры искать немногих выживших однополчан, ряды которых редели год от года. К вечеру возвращался задумчивым и грустным. Не припомню, чтобы хоть раз я слышал от него слова «подвиг», «героизм» или «патриотизм» по отношению к кому бы то ни было. Эти слова не очень вписывались в самую манеру его разговора об ушедших десятилетиях.

Для меня День Победы — это день отца, а ее шестидесятилетие — это веки и его судьбы, дата и его памяти. Тысячи наших соотечественников могут сказать это о своих фронтовиках. Может быть, в том числе тем и жива еще много-страдальная Россия.

Всю жизнь отец строил. Всегда трудился одержимо: и будучи десятником на Дальнем Востоке, и на месте руководителя республиканского объединения. Он возводил дороги, мосты, заводы, комбинаты, МТС. География его трудов обширна: Дальний Восток, Ахтуба, Гусь-Хрустальный, Кустанай, Кострома, юг России...

Он никогда и никого не боялся. В шестидесятилетнем возрасте мог схватиться с хулиганами на улице и одолеть их в неравной схватке. Неизменно кому-то помогал, очень любил людей, и они отвечали ему тем же.

Отец очень любил пасмурное небо и дождь. Он готов был ходить в своей светло-серой шляпе под дождем часами и при этом говорил мне: «Не сахарные — не растаем».

Когда в 1983 году отец скоропостижно скончался, лишь несколько лет успев побыть на пенсии, попрощаться с ним пришли сотни знавших его



НА ЗЛОБУ ДНЕЙ

«Мёртвый час. Не присмолить окурка,
Мёрзнут руки, промерзает взгляд...»

Евгений Блажеевский

Есть одно обстоятельство, которое я испытываю необходимость не обойти во 2-м издании этой книги. Это обстоятельство сводится к тому, что я — еврей. Полнокровное осознание этого факта приходило ко мне долго и мучительно. Стыдно вспомнить, что четверть века назад, в силу особенностей воспитания при развитии социализме, автор ощущал принадлежность к своему народу не более чем смутно. В сущности, мой человеческий путь пока что сводится к осознанию двух пространств. Одно — до бесконечности родные российские жизнь и культура, которые рядом изо дня в день, из часа в час. Другое — это мир праотцев, потомков и самого себя среди них. Это сознание счастья сопричастности еврейскому народу. Теперь, когда каждой собственной клеткой знаю, кто я, почему и во имя Чего, мне естественнее и проще любить российский дом, думать и писать о его боли и радости, не терять надежды на избавление России от мучающих её тело язв, застарелых и, увы, новых; на её избавление от сковавшей почву мерзлоты.

И моё сердце плачет, и когда я узнаю о Ванечках, безвинно погибших в Чечне или от беспредельной армейской дедовщины, и когда слышу, что юный еврей знает об истоках и предназначении древнего многострадального народа Иудеи.



ВО ВСЕМ ВИНОВАТ... ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Как же нужно твердо отрицать смысл русской истории, чтобы утверждать, что крупнейшие ее представители были «геростратами отечественной духовности», «разработчиками методологии разрушения». Именно этими и многими другими беспощадными эпитетами награждает в августовском номере журнала «Москва» за 1993 год (с.186-192) великого русского философа конца прошлого века Владимира Сергеевича Соловьева некто Леонтий Савельев.

Из злобного потока лжеизмышлений, адресованных не только мыслителю, но и его отцу — историку С.М.Соловьеву, обвиненному в «космополитической закваске», поэтам-символистам, якшавшимся с «чистыми сатанистами», Николаю Бердяеву, вместе с «Вольной академией» «командированному» в Берлин (а в действительности высланному большевиками) будто бы для... разрушения России, особо примечательна фраза Леонтия Савельева: В.С.Соловьев «есть поворотный пункт не только истории нашей фило-

софии, но и России и ее судьбы». Действительно, влияние Соловьева на религиозную мысль и развитие культуры XX столетия чрезвычайно. Его философия Всеединства оказала бесспорное влияние на лучшие умы России XX века: на Блока и Белого, на мыслителей Бердяева, Трубецких, Мережковского, на воззрения даже оппонента Соловьева — В.Розанова, как тот сам признавал. Кстати, по словам Л.Савельева, Соловьев умудрился тлетворно воздействовать и на священников-богословов П.Флоренского, Г.Флоровского, С.Булгакова. С чувством глубокого почтения о Вл.Соловьеве говорили крупнейший представитель русской религиозной мысли в эмиграции Николай Зернов и Александр Солженицын. Впрочем, Вл.Соловьев в защите от современных озлобленных публицистов едва ли нуждается. Тем паче что сам тенденциозно-проработочный тон господина Л.Савельева, по сути, отвергает возможность какой бы то ни было с ним основательной полемики.



И все-таки в чем же конкретно «провинился» Владимир Соловьев? Автор утверждает, что он остался «Иудой Искаримом в истории Новозаветной», что он был «представителем иудейского монотеизма», проводит ходячую аналогию между Марксом и Соловьевым, приписывая русскому мыслителю марксистское стремление изменить мир (Соловьев никогда не утверждал необходимость социального, тем более классового переустройства общества), Савельев пытается доказывать, что, будучи «классиком мирового лицемерия», Вл. Соловьев подрывал основы церкви, был «адептом организованного действия», «тайных общественных групп». И его греховные воззрения, дескать, повернули вспять всю русскую историю.

Тут налицо очень характерный для нынешнего времени парадокс: безрассудное русофильство автора статьи (не путать с идеологией российской державности) неминуемо приводит г-на Савельева к русофобии. Неужели ход великой отечественной истории, закономерное движение отечественной культуры могут быть в одночасье изменены одним «злым» творческим гением и его последователями, среди

которых называются лучшие предшественники русской общественной мысли и культуры XX века? Как же нужно презирать свое Отечество, чтобы порождать подобные силлогизмы!

Не большевики-ленинцы, оказывается, в первую голову — виновники нашей трагедии, а христианский религиозный мыслитель, еще в 1923 году запрещенный для чтения в СССР, упоминавшийся на Родине на протяжении десятилетий лишь в подстрочных примечаниях. Само обсуждение идей Владимира Соловьева подчас считалось коммунистическими идеологами крамольным: именно за это, например, в 1970-е годы студентов изгоняли из гуманитарных вузов.

Перечитываешь странные и пространные записки в журнале «Москва», и встают перед глазами слова Владимира Соловьева:

Протяженно-сложенное слово
И гнусливо-казенный укор
Заменили тюрьму и оковы,
Дыбу, сруб и кровавый топор.

*Газета «Куранты»,
22 октября 1993, с. 11*



ПСЕВДОЕВРАЗИЯ. ВСЕ ДОРОГИ ЗАНЕСЛО?

Помнится, во второй половине 1970-х годов определенной частью нашей интеллигенции овладело ощущение зыбкости и бренности всего вокруг. Шли беспросветной чередой годы брежневского правления. Постоянное ощущение непроходящей духоты. Кое для кого стало частоупотребимым и даже иной раз экстравагантным словечко «распад». Некоторые пытались вырваться из замкнутого пространства попыткой приобщения к религиозной аскезе. Тогдашняя гуманитарная молодежь любила поразмышлять о приближающемся конце света.

В наши дни апокалиптическая тема как-то отошла на второй план. Когда есть реальная, слишком зримая и земная каждодневная социальная угроза, о мистическом, как выясняется, рассуждают куда реже. И почему-то сейчас чаще вспоминаются не зловещие бесы-лжепророки из романа Достоевского, а «Бесы» пушкинские:

Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло...

Убогий карлик в метро, торгующий пластмассовыми петушками с подгибающимися веревочными ногами. Не он ли один из символов нашего времени?

Перед глазами встают многотысячная толпа между метро «Парк культуры» и Дворцом молодежи (люди по восемь часов медленно двигались при двадцатипятиградусном морозе, чтобы проститься с А.Д.Савхаровым), огромные антикоммунистические митинги, на которые, казалось, выходило пол-Москвы. И 19-21 августа 1991 года — поистине дни, когда воочию проявилась бескомпромиссная решимость отстаивать молодую российскую демократию даже ценой собственной жизни. Кто из нас представлял себе тогда, в 1991-м, что спустя всего несколько лет после тех событий, приведших в Кремль, как мы тогда считали, новые свежие силы, придется всерьез говорить об угрозе тоталитаризма в России и даже посвящать этой теме целые газетные полосы?



Новая опасность, как часто объясняют ныне, порождена слабостями и неудачами нашей реформы. Анализировать просчеты реформаторов — дело экономистов. И отчетливого последнего слова по этому поводу, к сожалению, еще не сказано. А возможно ли без него принципиально выправить положение в обществе? Во всяком случае именно теперь стало ясно, что бытие может слишком определять сознание в форс-мажорные для общества времена (что, впрочем, во все не отвергает метафизическую ценность обратного поступата).

Общество-то болеет не просчетами реформаторов, а результатами этих просчетов. Один из главных симптомов нынешнего заболевания можно назвать социопсихологией и даже идеологией... рэкета. С начала 1992 года наряду со многими нововведениями, требующими специального экономического анализа, было одно, сверхпагубные последствия которого очевидны даже обывателю: резкое ужесточение системы налогообложения вынудило многих и многих, успешно или безуспешно занимавшихся предпринимательством, скрывать свои доходы, отдавая предпочтение налич-

ному расчету, который в свою очередь оказался, можно сказать, не менее дееспособным по части разрушения первых ростков правосознания, чем любой диктаторский режим. О каких нравственных императивах уместно говорить в обществе, в котором весомое место занимает тип деловых отношений, абсолютно не подчиняющийся никакой букве закона?

Не отсюда ли во многом обнищание сфер просвещения и культуры и обесценивание самой человеческой жизни?

В последнее время понятие «идеология» упоминается у нас преимущественно в ругательном контексте в противовес его исключительно окрашенному в классовые тона употреблению в предшествующие десятилетия. А между тем в XIX веке в России, кроме идеологии рабочего класса, которой позднее ленинцы приписали удобный для них воинственный характер, были идеологии тех или иных социальных слоев: дворянства, мещанства, купечества, крестьянства... Речь здесь идет не о политических установках того или иного класса, а именно об определенных системах ценностей и устоев, складывавшихся столетиями.



В дореволюционной России, стране, в общем, консервативно-традиционной, сбалансированность этих устоев и ценностей, быть может, и была неким стержнем нормальной, относительно устойчивой жизни.

К моменту падения коммунистического режима у нас уже давно были разрушены ценностные сословные ориентиры, соответственно изжила себя и эфемерная большевистская идеология.

В этих условиях любая реформа, отвлеченная от многообразных потребностей человека, игнорирующая культуру и науку и их представителей, при первых же шоковых, да еще и не очень обдуманных шагах, естественно вызывает острейший кризис общества.

Очень важное, наверное, упущено в первые постсоветские годы: социальная политика, действенное внимание к науке, к культуре, которые, надо думать, и были призваны принести из своих недр новое правосознание в наше Отечество.

Но вместо этого мы воочию столкнулись с ценностным вакуумом, провоцирующим наступление популистско-агрессивных псевдоценностей, которые потому и «псев-

до-», что не связаны с отечественной традицией. Разве что с Евразийством — философским движением русского зарубежья 1920-1930-х годов, ориентированным на обновление Советской России путем исторического поворота страны — «наследницы великих ханов» на восток — к Азии, вступление ее «в среду колониальных стран», что «может явиться решительным толчком в деле эмансипации колониального мира от романо-германского гнета».

Но и насчет связи новоиспеченных «пророков» с Евразийством обольщаться не стоит. Потому, во-первых, что идеология для них — больше средство в борьбе за власть. Во-вторых, при их своеволии им даже противопоказана ноша цельного знания, присущая Евразийству, как и любой концепции, претендующей на жизнестроительство. Так что и в этом случае можно убедиться все в том же «псевдо-», видимо, постоянном атрибуте «грядущего хама».

*Газета «Сегодня»,
1 марта 1994, с.9*



ЦЕПЬ БЕЗУМИЯ

Множество «чудесных» впечатлений щедро дарят наши дни.

Разве не «чудо», когда 9/10 средств массовой информации в один голос выступают против военного присутствия в Чечне и за немедленные переговоры с уголовным дудаевским режимом?

Думаю, переговоры с кровавыми преступниками были бы безумием едва ли не меньшим, чем безвозмездно предоставленное чеченскому диктатору море российской боевой техники.

Да, военная операция в Грозном привела к огромным потерям и разрушениям. И тем не менее убежден, что в сложившихся, в том числе по вине российского руководства, в конце 1994 года обстоятельствах наведение правопорядка в Чечне было необходимо. Необходимо на части территории России, где нацизм, незаконную торговлю оружием, контрабанду и наркобизнес возводили в «моральные» принципы нелегитимного, никем не признанного псевдогосударства.

Удивительно и не менее «чудесно» другое: военные действия велись по старому сталинскому принципу: «Победа

любой ценой. Для достижения ее людей не жалеть». И это при том, что российские вооруженные верхи без малого четыре года назад могли наблюдать, как НАТО в течение нескольких недель и при минимальных потерях подавило хорошо вооруженный режим старшего брата Дудаева — Саддама Хусейна.

Даже школьники помнят о той операции. Но, оказалось, опыт ее совсем не был учтен нашими военными специалистами.

Итак, чеченский узел — это цепь безумия. Безумием было покровительственно закрывать глаза на неконституционный приход к власти уголовного исламско-мафиозного режима. Безумной провокацией последней четверти уходящего столетия стало принесение в дар этому режиму оружия и военной техники. Безумие — топорно организованные боевые действия, унесшие тысячи жизней.

И само отсутствие профессиональной армии в нашей стране теперь в Чечне обернулось для нас тысячекратно большими затратами, чем стоило бы ее содержание. И последнее звено безумия на сегод-



няшний день — визг политических ежедневок и еженедельников о необходимости сесть за стол переговоров с Дудаевым в тот момент, когда наши солдаты ценой своей крови наконец очистили от него Грозный.

Почему-то пресса не предлагала вести переговоры с покойником Чикатило, зато на легитимных встречах с «президентом» Чечни настаивает. Что за этим стоит — нетрудно догадаться.

Впрочем, ситуация с Чечней — это лишь самый выраженный и сильный симптом тяжелой болезни нашего общества. Менее заметные ее симптомы многие из нас наблюдают почти каждодневно, в том числе и в редакции «Накануне». То зашедший на огонек известный демократ-эко-

номист заявляет, что при словах «культура» и «интеллигенция» ему хочется грохнуть бутылку о голову их произнесшего (кстати, Геббельс, услышав эти понятия, хватался за пистолет). То религиозный либерал в принесенной им статье призывает православного священника 9 мая отслужить панихиду по всем убиенным во второй мировой войне, то бишь по безвинно замученным россиянам вкупе с нацистскими преступниками. То черносотенный анонимщик, явно не прочитавший наш ежемесячник, отвергает его лишь за присутствие в нем фамилий, не ласкающих слух псевдопатриота.

*Газета «Накануне»,
1995, № 4, с. 2*

О ДИАЛОГЕ С ПРАВООЩИТНИКОМ

Программа «События», что ежедневно выходит на канале ТВ-центр, отличается от своих новостных аналогов на некоторых других каналах хотя бы корректностью оценок действующих политиков и их движений. Думается, именно это привлекает к ней телезрителей.

И вот 3 ноября 1999 года

диалог одного из ведущих «Событий» Дмитрия Киселева с главным редактором «Общей газеты» Егором Яковлевым — старожилом советской и флагманом российской журналистики.

Г-н Яковлев страдал на экране по поводу того, что его знакомец — президент Масхадов «возможно» не контроли-



рует ситуацию в Чечне и это его (Масхадова) «беда» и не надо бы глумиться над чужой бедой... Едва ли не всплакнул г-н Яковлев и по поводу судьбы многострадального чеченского народа. Интервьюируемый, впрочем, не выдавил из себя ни слова ни по поводу сотен убиенных из взорванных террористами домов, ни по поводу бойцов, сражающихся и умирающих во имя того, чтобы освободить российские земли от бандитской нечисти... Егор Владимирович взволнован тем, что уничтожение бандитов может нанести нравственный урон гражданам России.

Видный правозащитник, ставший таковым в эпоху перестройки и реформ, вообще поратовал за то, чтобы искоренить из журналистского лексикона понятие «чеченский след». Дескать, суда над виновниками взрывов еще не было... Неужели сему многоопытному старцу мало того, что внушительное число из реальных и потенциальных участников терактов уже отдыхают на нарах, а кое-кто из арестованных публично по всем центральным телеканалам заявил о своей принадлежности к террористическим группам, цель которых — уничтожение мирного населения на территории России.

Более того, повязанные бандиты во всеуслышанье рассказывают об «обучении» в лагерях Басаева и Хаттаба. А Басаев и Хаттаб в свою очередь не устают грозить массовыми убийствами...

Попробуем представить себе, что в момент следствия над печально известным извергом Чикатило в российских СМИ нашелся бы поборник его прав, заявивший: «Пусть сначала состоится суд, а до той поры нечего обижать человека». Стоит ли говорить, какой бурей негодования обернулся бы подобный абсурд.

Может быть, главный редактор «Общей газеты» в силу каких-то обстоятельств оказался «не от мира сего»? Может быть, седовласый патриарх советской журналистики, признавшийся Дмитрию Киселеву, что все еще с интересом изучает наследие Ленина, вдруг попал под сверхобаяние марксистской идеологии интернационализма? Теоретический «может быть» может быть не два, не три и даже не десять...

А между прочим, экономический расцвет «Общей газеты» совпал с периодом первой чеченской войны.



НЕДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

Сорок лет назад, в 1964 году, Брежнев со товарищи сместили Хрущева. 6 июня сего года (кстати, почему-то в день рождения А.С.Пушкина) на канале РТР вышел в свет фильм «Дорогой Леонид Ильич!» На экране наряду со знаковыми серьезными фигурами — покойным Александром Бовиным и Георгием Арбатовым — по поводу Брежнева, его правления и его семьи распинались зять генсека Чурбанов, подружки его дочери Гали, личные охранники и прочая невзрачная публика. Мелькали отяжелевшие, малоподвижные лица самого Леонида Ильича, его жены Виктории Петровны, спившейся дочери Галины. О них рассказывали «неординарные» истории. Вообще для фильма характерна какая-то нежная, трогательная нота по отношению к Леониду Ильичу.

Вот Брежнев всплакнул, посмотрев х/ф «Белорусский вокзал», и помрачнел от знакомства в личном кинозале с лентой Тарковского «Андрей Рублев», тем самым замуравив это произведение на долгие годы. Когда-то Ленин говорил, что в СССР кухарки будут

управлять государством. Но только Брежнев и его земляческий и семейный кланы сумели воплотить эту ленинскую мечту. Ни Сталина, ни даже Хрущева при всем желании к кухаркиной родне не отнесешь. Брежнев и его земляки из политбюро так и не заставили себя научиться говорить на литературном русском языке. И сам их менталитет был во многом отличен от российского. Неприятие Брежневым «Андрея Рублева» тоже не случайно: именно для тех краев, откуда он был выходцем, нехарактерна присущая большинству простых русских людей из глубинки пронзительная православная острота переживаний.

Впрочем, как выяснилось, он просил сокращать в своих докладах и марксовы цитаты. «Кто поверит, что Леня Брежнев читал Карла Маркса?» — говаривал наш генеральный марксист.

Из того же фильма мы узнаем, что Леонид Ильич любил на досуге забивать козла, а однажды на даче, проходя мимо кинозала, приоткрыл дверь да увидел на



полотне любовную сцену. Не удержался и плюнул. И это при том, что многократный герой всю жизнь гулял неизменно, а под занавес, уже еле живой, приспособил для утех молоденькую медсестру. Одна из подруг дочки этого «выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения» показалась на экране со здоровенным крестом поверх кофты и объяснила, что Галя Брежнева не могла долго жить с Чурбановым, потому что была «человеком богемы».

Подобные фильмы визуально напоминают современникам генсека: он всегда ходил в черном костюме-мешке, обвешанном любимыми побрякушками; у него была кургузая вставная челюсть, звероподобно топорщились нестриженные мохнатые брови. И он обожал целоваться, пускать слезу и грубую лезть в свой адрес. В школах и институтах требовали повсеместного прочтения написанной за Леонида Ильича и притом бездарно трилогии. Одна из частей — «Малая земля» — свидетельствовала, что генсек в годы войны был политруком. Те, кто застал окопных солдат и офицеров Великой Отечественной, помнят, как брезгливо передергивались их лица при упо-

минании политруков. Правда, мой отец, пропахавший войну, включая Сталинград, сапером на минных полях, дважды раненный и контуженный, говорил о Брежневе как о человеке незлобивом, компанейском и даже справедливом. Отец работал во второй половине 1950-х начальником казахстанского Главзападстроя в бытность Брежнева вторым секретарем ЦК этой республики и в то время многократно с ним встречался. Но свойство тепло и жизнерадостно общаться с людьми добросовестно делающими свое конкретное дело и претендующими исключительно выполнить трудовой долг, увы, не довод в пользу умения отвечать за судьбу державы.

В 1960-70-е годы тов. Брежнев весьма ловко ориентировался в лабиринте «дворцовых» интриг, отодвигая от власти конкурентов.

Когда в 1979 году мне, студенту одного из московских филфаков, инкриминировали идеологическую несознательность, отец пошел к декану, которая констатировала: «Что вы хотите, у нас едва ли не каждый второй студент информирует о других студентах...». Это было чрезвычайно характерно для последних десяти лет «власти»



Брежнева.

Впрочем, Брежнев не был рекордсменом по числу нарушений прав человека. В этом смысле ему далеко до некоторых предшественников на столь же высоких постах. Зато Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Л.И. Брежнев по праву претендует на роль рекордсмена по качеству антигосударственных преступлений в СССР.

За восемнадцать лет «царствования» Брежнева в стране все более нарастали негативные процессы в экономике, социальной и духовной сферах. В 1968 году по инициативе дорогого Леонида Ильича и его окружения были введены танки в Чехословакию, что привело к многочисленным жертвам мирного населения и серьезному урону репутации Советского Союза в мире.

В 1972 году засушливое, неурожайное лето обернулось бескормицей для крупного рогатого скота и катастрофическим падением его поголовья. В связи с этим брежневское руководство делает роковую ставку на свиноводство, которое может развиваться только при высоких урожаях зерновых. Зерновая база после того же лета 1972-го переживает кризис. Так

было окончательно добито сельское хозяйство в исторически аграрной стране.

В том же 1972-м, как и раньше, в 1967 году, политбюро во главе с Брежневым поддерживает и с военной, и с материальной, и с моральной стороны агрессию арабских стран против Израиля. В обоих случаях нападающая сторона терпит сокрушительное поражение.

При этом Л.И. Брежнев со товарищи закладывают один из первых камней в фундамент будущего исламского терроризма. Антисемитизм в годы Брежнева носит начиная с 1967-го систематический, последовательный, невременный характер. До самого прихода к власти М.С. Горбачева по отделам кадров ходит негласный циркуляр: «Евреев на работу не брать или брать в исключительных случаях». Это реально скажется на оттоке ИТР из страны и снижении уровня развития науки и технологий.

В 1979 году Брежневым вместе с Сусловым и Устиновым предпринята безумная авантюра: многолетняя война с Афганистаном, унесшая тысячи жизней наших солдат и офицеров, дискредитировавшая СССР и обескровившая моральный и общественный потенциал государства.



Выше — только некоторые выписки из основного реестра преступлений брежневского клана против государства. Но и они дают возможность назвать поименно виновников грядущего развала могучей державы.

В концовке фильма, вышедшего на РТР 6 июня 2004 года, появляется характерный для того времени документальный кадр с комсомольской активисткой, восклицающей: «В его биографии соединились молот рабочего, серп крестьянина, звезда солдата». Здесь в фильме явно не хватило ремарки: «Итогом его пути были полу-

работоспособный молот, затупленный серп и поруганная солдатская звезда».



*Газета
«Информпространство»,
2004, №7, с.2*

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СКВОЗЬ ТУМАН

19-21 августа — ровно десять лет событиям 1991 года, традиционно именуемым «августовским путчем». Текст обращения ГКЧП, зачитанный Янаевым, помнится, как ни странно, до сих пор. В те дни много часов мне случилось провести среди участников обороны Белого дома; ноги несли туда сами — защищать свободу.

Парадоксально, но факт: многие предостережения, высказанные гэкачепистами, воплотились в уродства последнего десятилетия.

В обращении ГКЧП говорилось о готовящемся распаде державы — после провала путча Ельцин и К^о — одним махом в декабре 1991-го разрушили то, что по крохам собиралось веками. Тов. Янаев



Москва. 19 августа 1991 года

говорил, что новоиспеченные демократы приведут население к обнищанию — и действительно, после 1991 года трудовые накопления в одночасье «сгорели» со скоростью бикфордова шнура, а само понятие социальной защиты вообще забыли лет этак на пять. Янаев констатировал, что советский гражданин, оказавшись за рубежом, ощущает себя человеком второго сорта. После 1991 года люди из СНГ существенно пополнили число безработных и проституток на пространствах Европы, США, Канады и прочего мира.

Не будем останавливаться на диких гримасах приватизации по-русски, на состоянии производства, науки, образования, культуры за последние десять лет. Совершенно очевидно: те, кто

хотел до пресыщения наесться отечественными энергоресурсами, сделали это быстро и успешно. Так что же, ГКЧП был прав в 1991-м? Думается, устроители путча, вылившегося скорее в театрализованное идиотическое действие, несут не меньшую ответственность за судьбы страны накануне XXI века, чем первый президент России и иже с ним.

Имели ли право Янаев, Шейн, Лукьянов, Пуго и Стародубцев брать на себя обустройство государства? Они были безусловными производными аппарата, во главе которого без малого два десятилетия стоял Брежнев, который никогда не уставал быть маразматиком в глобальном масштабе. Самое употребляемое изречение тов. Л.И.Брежнева по поводу советской экономики: «Экономика должна быть экономной». Экономия никогда и никому не мешала, но главным делом экономики экономия быть не может, как в любви не может быть главным воздержание. Какими же незрячими нужно было быть, чтобы не прогнозировать массовый мощный протест москвичей против путча. Гэкачеписты были плоть от плоти порождением застойного ЦК. 19 августа 1991 года они утопили благие слова



в тухлятине, оставшейся в них самих от брежневских пятилеток. В первые же часы своего сиюминутного правления они начала «борьбу» со свободой слова, «остановили» выпуск массы газет и журналов, хотя это в условиях изменившейся жизни было равносильно запрету дождя, снега или, например, алкогольным ограничениям. Они наводнили улицы Москвы сотнями тяжелых танков, как будто началась третья мировая война, но при этом разрешили демократическим верхам собраться и заседать в Белом доме, собирая вокруг него вольнолюбивую публику, наподобие автора этих строчек.

Убежден, что августовские события десятилетней давно-

сти затормозили нормальный естественный процесс перехода российской государственности от тоталитарных к гуманистическим формам правления. В основе этого процесса стояли традиции отечественных просвещения и культуры, пусть робко, пусть с колебаниями, но героически подхваченные Михаилом Сергеевичем Горбачевым и теми немногими во власти, кто, может быть, через столетия будут названы неувядаемыми дон кихотами нашей истории. Хочется надеяться, новые дон кихоты еще придут.

*Газета «Новое»,
2001, №2, с.2*

ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВИДЕЛ

Исполнилось 10 лет событиям 3-4 октября в Москве, унесшим жизни нескольких сотен людей, а по официальной версии почти 150 человек. В силу случайных и не случайных обстоятельств мне случилось быть непосредственно свидетелем тех трагических дней. Сейчас намеренно не буду вдаваться в политическую сторону конфликта между Президентом и Верховным

советом, а в память о погибших восстановлю нить того, что видел своими глазами. Об этом я написал тогда в газете «Куранты», где служил обозревателем, и рассказал в генпрокуратуре, куда вызывался как свидетель. Опущу точный временной хронограф, хотя он отражен мной и другими журналистами, в частности, в «Курантах» (сейчас нет времени копаться в



подшивках).

В послеобеденное время 3 октября 1993 года мы с приятелем оказались у метро Парк культуры-кольцевая на Садовом кольце и двинулись по направлению к метро Смоленская. Первое, что бросилось в глаза — это полное отсутствие проезжающего транспорта. Мы шли по Садовому буквально спустя минуты после разгрома милиции, учиненного «защитниками» Верховного Совета. По пути нас встретили разбитые стекла витрин, горящие или разбитые автомобили всех марок — от «копеек» до «Мерседесов». На тротуарах и на проезжей части ближе к тротуарам лежали убитые или тяжело раненные омоновцы.



*Смоленская площадь.
3 октября 1993 года*

Старухи-мародерки выкрикивали стандартные коммунистические призывы и копались в карманах у мертвых или беспомощных омоновцев. Я наблюдал, как одна

из бабушек сорвала с шеи неподвижного милиционера цепочку.

Затем мы повернули в сторону Белого дома и Мэрии. Толпа обезумевших «защитников» уже сконцентрировалась именно там. Многие из них были с боевым оружием. На моих глазах грузовые машины врезались в остекленные пространства первого этажа; стекла разлетались вдребезги. В толпе было немало людей в сапогах, в какой-то странной солдатской форме, напоминавшей чуть ли не довоенную. Эти люди громко разговаривали между собой совсем не на московском диалекте. Было очевидно, что большинство штурмующих мэрию — это прибывшие из Приднестровья «спасать Россию» незаконные вооруженные формирования. Они захватили здание в считанные минуты. После этого на козырьке Мэрии появился огромный роста детина в пожарной каске и той самой чудачковатой форме. Он публично надругался над государственным флагом России, растоптал его ботами очень большого размера под улюлюканье толпы, призывавшей «идти громить жидов». Следом на козырек Мэрии вышел разъяренный генерал Макашов, беспрестанно извергав-



ший матерную брань. Примерно в тот же момент из Мэрии вывели какого-то не последнего чиновника и больно пинали ему ногами под зад. Чиновник был весь красный, глаза у него были в слезах. Затем Макашов произнес речь: «Долгожданное свершилось, в России больше не будет ни мэров, ни перов, ни херов. Вперед на Останкино! Вперед на Кремль! Враги русского народа сегодня будут уничтожены». Выпившие для храбрости «воины» с нецензурной бранью стали залезать в грузовики, которые один за другим отъезжали в сторону Останкино. Из кабин грузовиков торчали повязанные на палки красные тряпки.

Спустя примерно час, оказавшись дома, я позвонил в Останкино и сообщил подошедшему к телефону о том, что сборище хулиганов едет громить телевидение. Подошедший к телефону сказал, что они об этом слышали, но сами до конца не понимают происходящее. На этом заканчивается более значимая часть моих наблюдений, возникших по воле случайных обстоятельств.

Ночью с 3 на 4 октября уже в качестве обозревателя газеты «Куранты», но в первую очередь по собственной инициативе, я поехал к Моссовету,

куда пришли строить баррикады несколько сотен москвичей: учителей, врачей, предпринимателей, журналистов... Обстановка была чрезвычайно трогательна и дружелюбна, но в то же время, как ни удивительно, в критический час настрой у людей, несмотря на два года непопулярных и во многом диких гайдаровских реформ, был тот же, что в августе 1991 года. Если бы понадобилось, то многие из пришедших полегли бы на Тверской, но ни в безрассудном порыве бить и крушить, а отстаивая простую и очевидную ценность — оставаться самими собой. Вопреки насилию, цель которого постричь всех под одну гребенку, вопреки Хамству, учиненному на Садовом кольце, у Мэрии и в Останкине сторонниками Верховного Совета.

Среди «защитников» Белого дома значительная часть состояла из незаконно вооруженных гастролеров разных мастей. Когда из расстрелянного Белого дома 4 октября выводили «окопавшихся» в нем рядовых граждан, по большинству из них было видно, что это приезжие из горячих точек. Беспрецедентный эпизод в новейшей истории России: 3-4 октября одна из противоборствующих в Мос-



кве сторон была представлена гражданскими лицами, привыкшими держать огнестрельное оружие в руках и стрелять. Этого не было ни в 1991-м, ни

позже. И, хочется верить, долго не повторится...

*Газета
«Информпространство»,
2003, №11, с.2*

РЯДОМ С ТРАГЕДИЕЙ

О трагедии в Театральном центре «НОРД ОСТ» сказано очень много и в те 56 часов, что там хозяйничали ублюдки, измывавшиеся над людьми в традициях Освенцима, и в последующие дни. Не стоит лишний раз повторять, что в момент штурма российские спецслужбы сделали абсолютно все, что можно было. И в то же время как мало они сделали для того, чтобы предотвратить захват зала «НОРД ОСТ». Опять-таки, очень вероятно, в силу того, что приоритетами работы спецслужб сегодня в значительной степени являются расстановки и перестановки внутри бюрократического аппарата и олигархических групп. «Инструментальный» подход нынешней власти к российским реалиям ударил по населению в октябре 2002-го более чем когда-либо и обернулся десятками безвинно погибших мирных жителей.

Едва ли случившееся ну-

ждается в дополнительных словах. Но вот многочисленные, происходившие параллельно трагедии, не были достаточно отмечены и обозрены. Идиотизмы эти были разноразными и разнородными. В первых же сообщениях о захвате заложников на центральных телеканалах прозвучало, что террористы разрешили выйти из зала мусульманам и... грузинам. При этом телевизионщики опирались на эмоциональную тираду взволнованной женщины, в первые минуты отпущенной чеченскими злодеями из помещения. На следующий день — 25 октября — выяснилось, что среди заложников по меньшей мере трое грузин, в том числе несовершеннолетняя девочка. Каковы бы ни были хитросплетения политики вокруг фигур Путин-Шеварднадзе, насколько ни были бы справедливы претензии рос-



сийской стороны к грузинской, не принимающей действенных мер в отношении бандитов, скрывающихся в горах Грузии, невозможно себе представить, чтобы воины оголтелого ваххабизма вдруг разом возлюбили православных грузин, отличавшихся особой жестокостью в подавлении мятежных чеченских разбойников в царской России. Между прочим, товарищ Сталин, особо покровительствовавший чеченскому народу, тоже имел отношение к грузинам. Получается, что в критические моменты трагедии кто-то не забывал решать свои сиюминутные и суетные политические задачи. В ракурсе таких суетных выступлений особой дикостью отличались комментарии «по горячим следам» вечером 24 октября г-жи Новодворской на телеканале ТВС. Валерия Ильинична со свойственной ей возбужденностью назвала действия М. Бараева и прочих подонков долгожданной мольбой чеченского народа об освобождении. Конечно, к Новодворской все давно привыкли, а люди опытные и порядочные понимают, что для ее психики не прошли даром андроповские застенки. Но я полагаю, что последнее ее высказывание, невзирая на

личные обстоятельства, не только кощунственно по отношению к заложникам, страдания коих сопоставимы со страданиями узников гестапо, но и нуждается в оценке с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса как пропаганда терроризма.

Искреннюю грусть навеяли рассуждения Елены Боннэр на «Эхе Москвы» 25 октября, сводившиеся к тому, что нужно немедленно выводить войска из Чечни. Будто бы этот вопрос мог в какой-то степени рассматриваться как главный, когда в лапах у фанатичных и беспощадных чудовищ оказались сотни, среди которых были дети, пожилые люди, женщины... В тот же день родственники заложников, потерявшие рассудок, по требованию террористов вышли на улицу с плакатами против антитеррористической операции в Чечне. Понятно, эти люди были доведены до отчаяния. И в то же время непонятно, почему власти не разъясняли несчастным родственникам, что если их близким угрожает уничтожение от рук бандитов, то антигосударственный митинг не предотвратит жертвы в «НОРД ОСТе». Не исключено, что своевременная работа



«психологов» могла помочь людям не появиться с плакатами перед телекамерой.

Во время происходящего на центральных телеканалах прошло множество выступлений действующих политиков разного ранга, говоривших о чем угодно вокруг да около, но не по единственному вопросу спасения заложников и уничтожения террористов. Эти факты, как и другие, не

приведенные здесь, еще раз свидетельствуют о разрушенном в последнее десятилетие стержне. К восставлению этого стержня мы так и не подошли.

Но в первую очередь помянем безвинно замученных...

Газета «Новое пространство», 2002, №24, с.2

У ЧЕРНУХИ ЦВЕТ НОЧИ

Каждую субботу, когда стемнеет, на НТВ появляется странный человек по имени Юрий Рогоза. У него несколько характерных черт, которые отнюдь не характерны для ведущих центральных телеканалов: у Рогозы кольцо в ухе, он постоянно и даже с какой-то навязчивостью проговаривает слово «о?кей», вытаскивая сигарету из красной пачки «Мальборо», очень популярной у среднестатистического американца. К тому же сей чудной господин не в ладах с русской речью не только на уровне телеобщения, но и в обиходе. Камера всяческими способами подчеркивает названные качества Юрия Рогозы, а еще

задерживает наше внимание на его автомобиле «пассат», на его здоровенных мохнатых руках, на неряшливой, не соответствующей телеэкрану одежде. Самолюбование Рогозы достигает апогея в титрах передачи, где оператор назван «камерой» (аппарат, зафиксировавший столь странного персонажа, удостоен особой чести).

Стоит сказать о том, что в тех же титрах возникает заставка, в которой специально подчеркивается отсутствие присутствия НТВ в подготовке данной программы: телеканал, дескать, не имеет отношения не только к происходящему, но и к самому отношению Рогозы к собы-



тиям. Это, по крайней мере, может объяснить, каким образом странный господин из Киева вдруг попал на центральный российский телеканал сразу в трех лицах — продюсера, режиссера, ведущего. «Господь с ним, с этим Рогозой!», — воскликнет наш читатель и будет прав. Я, например, регулярно наталкиваюсь на его передачу, проникнутую провинциальным самолюбованием, но не потратил бы на нее ни слова, если бы не «Цвет ночи» от 20 октября, самым содержанием которого стало вопиющее нарушение прав человека.

Жила-была тетечка Татьяна Алексеевна, потерявшая в соответствии с возрастом своим тато Петю и мамо Олю. Однажды к ней пришла почталыон Катя шестнадцати лет — как увидела Татьяну Алексеевну, так побледнела и завопила: «Здравствуй, доченька, я твоя мама Оля!» Тут случилась реинкарнация — в организм несчастной девочки подселилась мама Татьяны Алексеевны. Татьяна Алексеевна, хотя и не сразу, поверила в совершившееся чудо. В связи с этим Катю самовольно перекрестили в Ольгу Петровну, переселили из родительского дома к Татьяне Алексеевне, по сути дела, незаконно отняли несовер-

шеннолетнюю у родителей... Сама заново испеченная Ольга Петровна свидетельствует, что кинула родителей во имя «дочери», потому как материнское чувство сильнее дочернего. Татьяна Алексеевна и Ольга Петровна теперь счастливы, в то время как родители Кати находятся в том тяжелом состоянии, которому трудно подобрать эпитеты. Думаю, зрителям, даже однажды повидавшим милейшего Рогозу на экране, не надо рассказывать, как тот смаковал печальную историю и с каким пониманием отнесся к обретению Татьяны Алексеевны.

В нашей европейской цивилизации есть свой уклад. Кто угодно, независимо от пола и возраста, имеет право ощущать и воображать себя кем угодно: не только мамо некой Татьяны Алексеевны, но даже матерью Гертрудой самого принца датского Гамлета, если только это не несет опасности для окружающих. Несовершеннолетняя же девочка Катя без согласия с родителями вырвана из дома, где проживала и прописана. Матери и отцу Кати нанесены душевные раны, причинен нравственный урон. Более того, совместное жительство двух людей в данном случае



обусловлено не чем иным, как их поклонением нетрадиционным мистическим ценностям. В сущности, отношения между «матерью» и «дочерью», не подтвержденные ничем, кроме их представления о реинкарнации, являются формой идолопоклонства. Можно говорить и

о том, что находящаяся в зрелом возрасте Татьяна Алексеевна создала нигде не зарегистрированную секту из двух человек, а это в России преследуется законом. А как на Украине — не знаю.

*Газета «Новое»,
2001, №12, с.2*

О КРИТИКЕ ЛИБЕРАЛИЗМА И ПРОИЗВОЛЕ

За год до приговора, в конце марта 2004 года, опальный олигарх Михаил Ходорковский, находясь под стражей в тюрьме «Матросская тишина» достаточно неожиданно выступил с критикой либерализма на страницах газеты «Ведомости».

Ни одно слово, произнесенное М. Ходорковским по поводу кризиса либерализма, не вызывает желания полемизировать с этим словом по сути. Разве не ельцинские чиновники и порождённые ими представители крупного бизнеса создавали и пестовали многоступенчатую систему откочки энергоресурсов за рубеж, разве не после 1991 года в России возник мощнейший механизм коррупции, ставший, по сути, новой идеологической платформой для 1/7 части суши, разве не

при либералах в 1990-е годы не менее 90% населения России было брошено на произвол судьбы, а выплаты госзарплат и пенсий в регионах задерживались годами; усугубилась нищета и намного выросла смертность?

И появление на самом верху представителей власти нынешней стало закономерным итогом сотворчества предыдущей власти с олигархическим капиталом.

Сегодня опровергать тот факт, что ельцинская демократия обернулась для России чудовищным произволом, будет либо негодяй, цинично отождествивший понятия корысти и свободы, либо зашоренный теоретик от демократии. (И это при том, что лучшей формы мироустройства, чем демократия, человечество не изобрело).



Но что являет собой содержание под стражей Михаила Ходорковского, как не продолжение того же самого произвола? В России была создана система коррупции и казнокрадства, которая вовлекла в свои сети не только опального олигарха и почти четыре десятка его коллег, но и многотысячную армию чиновников и едва ли не всех предпринимателей, не только крупных, но и от средних до самых маленьких.

Нельзя забывать и о том, что для сотен тысяч людей альтернативой их малому бизнесу была только голодная смерть. И если бы все последовали букве дикого уголовного законодательства, то, полагаю, малое предпринимательство в России почило бы в бозе, даже не дожидаясь 17 августа 1998 года.

Не сомневаюсь, найдутся оппоненты, которые скажут: «Ходорковский — не представитель малого бизнеса и утаил не две тысячи...» Что ж, давайте предложим ввести в Уголовный кодекс прайс-лист экономических преступлений и наказаний: утаил две тысячи рублей — выплаты штраф в три тысячи; утаил \$200 млн. — полная конфискация имущества и высшая мера в виде пожизненного заключения.

Даже не смешно, не правда ли?

Почему же Михаил Ходорковский отдувается за всю систему? И почему вообще кто-то должен отвечать за тотальный произвол псевдогосударственной машины? Тем более, что и сегодняшние высокие управленцы пришли не из вакуума. Тем более, что и система коррупции всё ещё живёт и здравствует. Путинская власть сумела пока что подстраховать население от многомесячного безденежья и, возможно, от голода. Она же ставит первоочередной задачей борьбу с бедностью, а не с коррупцией и произволом. Это всё равно, что раковому больному на операбельной ещё стадии откладывать хирургическое вмешательство, но активно лечить его обезболивающими препаратами. Обезболивающее, конечно, тоже в помощь, но жизнь оно не спасает.

Михаил Ходорковский предлагает «признать, что либеральный проект в России может состояться только в контексте национальных интересов». Может возникнуть вопрос, не найдутся ли в России силы, которые национальные интересы её усвоят



специфическим образом? Усвоить, можно, конечно, что угодно и как угодно. Но, как видится, и власть, и значительная из самосознательной части нашего населения понимает, что роковая игра на национальных интересах в многонациональной стране в начале XXI века — как хирургический скальпель в руках не хирурга, а мясника скотобазы.

Очевидно одно: для того, чтобы сажать за налоговые нарушения, должна функционировать та экономическая система в совокупности с теми налоговыми нормами, которые и возможно, и проще тотально исполнять, нежели тотально игнорировать. При

этом должна быть де-юре установлена точная дата начала жизнедеятельности новой системы, а вместе с ней и всеобщей экономической ответственности.

Декларацию Михаила Ходорковского 2004 года можно уверенно назвать манифестом многих из предпринимателей России. Тяжко только, что написана она в «Матросской Тишине», а не на свободе.

И что содержимое её, похоже, абсолютно совпадает с тем, что от заключённого желала услышать в конкретный час конкретная власть.

*Газета
«Информпространство»,
2004, №6, с.3*



ПЛАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

«Поэт» и «человек» суть две ипостаси единой личности. Поэзия есть проекция человеческого пути».

Владислав Ходасевич

НА ОСТРИЕ СВОЕМ

Читательский круг, известно, многослоен. Всегда и везде. Автор этой заметки принадлежал к той среде «застойных» времен, которая большею частью ворожила себя дореволюционными изданиями и тамиздатом вперемежку с самиздатом.

Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Набоков, Владислав Ходасевич... Постоянные встречи с ними неизменно продолжали разжигать во мне читательский голод, заставляя с упорством и благоговением приобретать в буках и у нелегальных книжников пока еще неизведанную сердцем пищу.

Страсть к началу XX века и к русской эмиграции, конечно же, была предопределена и вполне естественным стремлением жить вопреки унылым советским будням, планомерно стригущим всех под одну гребенку.

Наверно, настало время честно признаться: век XIX — эпоха Достоевского и Толстого — задел наше поколение в меньшей степени. Иной раз на него просто не оставалось времени. А жаль: лучшая классика прошлого столетия могла привнести не только пульс неистребимой мысли, но и ясную устремленность к созиданию. Впрочем, это — тема для отдельного разговора...

Пятнадцать лет назад, кажется, в букинистическом магазине у метро «Парк культуры»-радиальная, кажется, за 25 рублей я купил десятый том Полного собрания сочинений Мережковского, изданный в 1911 году товариществом



М.О.Вольфа. Работа мыслителя «Не мир, но меч», вошедшая в этот том, тут же стала для меня одной из главных книг-спутников.

Уже потом были прочитаны другие фундаментальные работы Мережковского, но «Не мир, но меч» так и остался расплавленным ядром, исходным посылом всего подвижного, саморазвивающегося мира мыслителя.

Мережковский зрел узлы русской, да и всей христианской истории сквозь магический кристалл Лермонтова, Гоголя, Чаадаева, Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева... Он погружался в

трагическую глубину противоречий между Ветхим и Новым заветом, между церковным идеалом безбрачия и христианским освящением брака, между ортодоксальным смирением и властным бегом времени. Между Сыном Человеческим и Богом-Отцом.

Мережковский, словно бесстрашный в своей скрупулезности естествоиспытатель, исследует драматические бездны в истории отечественной мысли. Он устремлен к бездонности противоречий ради поиска единства и цельности. И в этом поиске осознает непреходящий Смысл. Он верит в грядущую новую религиозную общественность в ключе «свободной теократии», взыскует Третьего завета, призванного объединить духовное и плотское, очистить мир соборным вокресением всего сущего.

«Одного бойтесь рабства, и худшего из всех рабства мещанства, и худшего из всех мещанств хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам», — писал мыслитель в статье «Грядущий хам» (1906). Мы знаем, что в нашей России к таким предостережениям в должной мере не прислушивались, да и не прислушиваются по сей день.



*Дмитрий Мережковский.
1910-е годы*



Конечно, странно было бы нынче буквально в исторически неминуемой конкретности воспринимать теократические послылы Дмитрия Мережковского. Но его отточенная, ясная, экспрессивно-упругая мысль по-прежнему обращает к сути нашего прошлого, к самому нерву России и Европы, к странствиям мятежного и страждущего Духа. Мерцающий свет творений Мережковского позволяет нам лучше понять сегодняшнее, побуждает узнавать будущее.

Газета «Накануне», 1995, № 2, с. 10

"НЕ ПРОБУЖДАЙ ВОСПОМИНАНИЙ" И АЛЕКСАНДР БЛОК

Жанр романса появился в России в начале XIX столетия. Аналогично романсу во Франции он занял свое место в культуре народа как лирическая песня с присущими ей напряженностью переживания, напевной мелодикой, синтаксической простотой и стройностью. «У романса нет «тем», у него есть только одна тема — любовь. Все остальное: жизнь и смерть, вечность и время, судьба, вера и неверие, одиночество и разочарование только в той мере, в какой они связаны с этой главной и единственной темой» (М.Петровский «Езда в остров любви», или Что есть русский романс. «Вопросы литературы, 1984», № 5).

Многим романсам XIX века была суждена долгая и значительная жизнь — они до сих пор в репертуаре современных исполнителей. Причина, по-видимому, в том, что этот когда-то новый жанр городского фольклора впитал в себя богатые традиции как устного народного творчества, так и русской литературы, выступил выразителем «сознания, стоящего между традиционным фольклорным мышлением и традиционной письменной культурой» (Ю.М.Лотман. Блок и народная культура города. «Блоковский сборник», IV, Тарту).

По сей день исполняется популярный городской романс, начинающийся словами «Не пробуждай воспоминаний...», музыку к которому в 70-е годы прошлого века написал П.Булахов:



Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней
Не возродишь былых желаний
В душе моей, в душе моей.

И на меня свой взор опасный
Не устремляй, не устремляй,
Мечтой любви, мечтой прекрасной
Не увлекай, не увлекай.

Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы,
Святым огнем любви согреты
Оживлены, оживлены.

Но кто ее огонь священный
Мог погасить, мог погасить,
Тому уж жизни незабвенной,
Не возвратить, не возвратить!

Каковы истоки этого известного произведения, насколько глубоки в нем фольклорные традиции?

На первый взгляд, на его текст оказали наиболее явное влияние стихотворение Е.Баратынского «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...», 1821; музыкальные переложения стихов М.И.Глинки, Ф. Бюхнера, А.И. Дюбюка и др.) и особенно стихотворение Д. Давыдова «Не пробуждай, не пробуждай...» (1834, музыкальные переложения стихов А.С.Животова, А.В. Мосолова и др.):

РОМАНС

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай.

Не повторяй мне имя той,
Которой память мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.



Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

Близость романа «Не пробуждай воспоминаний...» к романсу на слова Д.Давыдова действительно не вызывает сомнения: общность темы, напряженность элегического повествования, достигаемая частыми лексическими повторами, обращение к лирическому герою на «ты», использование глаголов в повелительном наклонении (кстати, их у Давыдова значительно больше, что придает его стихотворению еще большую драматичность, нежели в городском романсе), семантическая завершенность каждой строфы, четырехстопный ямб... Близки по значению и некоторые лексические обороты: «тому уж жизни незабвенной не возратить, не возратить!» (в городском романсе), «не воскрешай, не воскрешай меня забывшие напасти...» (у Д.Давыдова).

Почему же городской романс пользуется неувядаемой популярностью, а произведение Д.Давыдова ныне полузабыто? Причина этого кроется не только в более удачном музыкальном переложении, но и в особенностях художественно-словесного организма «Не пробуждай воспоминаний...».

Романс «Не пробуждай, не пробуждай...» насыщен литературными конструкциями, свойственными романтическому стилю начала XIX века: *мимолетных сновидений, песнь отчизны, изгнаннику земли родной, тревогам страсти, горя своеволье, обманчивый покой*. Романс на слова Давыдова заканчивается торжеством пусть своевольного, но страстного порыва над покоем «холоднокровья».

Городской романс, хотя и возник не без влияния романа на стихи Давыдова, но глубже и органичнее по сравнению с ним связан с фольклорными традициями, что и придало ему известную популярность:



Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы.
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.

Мотив животворящего огня любви встречается еще в древне-русской песенной культуре, быть может, он восходит к древнеславянскому поклонению огню. В лирической песне конца XVII века, в частности, повествуется:

Он расклат из них огник на моих белых грудех.
Загорелася искра к ретиву сердцу блиско.
Горит мое сердце во моем белом теле,
Палит мою душу день и ночь непрестанно.

Образ огня, символизирующего любовь, уже использовался и в поэзии XIX века (например, «В крови горит огонь желанья, душа тобой уязвлена...» у А.С.Пушкина). Третья и четвертая строфы романса «Не пробуждай воспоминаний...» перекликаются с некоторыми народными пословицами, словно когда-то предсказавшими оттенки его содержания: *Любовь не пожар, а загорится — не потушишь, С огнем не шутят, Огонь не вода, охватит — не всплывешь и др.*

Сама драматическая коллизия романса имеет глубокие корни народной мудрости: безвозвратный отказ от любви являет собою погашение святого огня, что ведет личность к мукам памяти. Все в том же богатейшем древнем фольклорном своде обозначено: *Кто кому надобен, тот тому и памятен, Шила в мешке да любви в сердце не утаишь.* Эпитеты «Не пробуждай воспоминаний...» по своей природе тоже скорее всего тяготеют к фольклорному постоянному эпитету: *минувших дней, в душе моей, взор опасный, мечтой прекрасной, святым огнем, огонь священный, жизни незабвенной.* Часто встречающаяся инверсия (прилагательное после существительного) — фигура, также свойственная фольклору.

Свободное и естественное привлечение фольклорных традиций наряду с удачным переложением на музыку предопределило долгую жизнь романсу «Не пробуждай воспоминаний...» как в широком исполнении, так и в литературном процессе в России.



Александр Блок, портрет
К.Сомова, 1907

Как известно, значительный интерес к народной культуре города (и прежде всего к культуре песенной) проявлял Александр Блок. Свидетельством этого интереса выступает ряд известных фактов жизни и творчества поэта, его кропотливая работа по изданию стихотворений Аполлона Григорьева, проникнутых драматичной стихией романа.

Актриса В.А.Шеголева 20 января 1915 года фиксирует в своем дневнике впечатления о недавнем вечере у Ф.Сологуба и Ан.

Чевотаревской: «Наст<я> <Ан.Чевотаревская> все хотела, чтобы я спела цыг<анские> романсы: «А<лександр> А<лександрович> сказал, что не уйдет, если будут петь цыганские романсы», — сказала она; он указал на эти: «Не уходи, побудь со мною». — Я ненавижу цыганские романсы, ответила я, чтобы он слышал. <...> Но для него я бы пела, если бы от волнения у меня не пропал голос» (А.Блок. «Литературное наследство», т. 92, кн. 3, М., 1982). Сестра матери Блока М.А.Бекетова 30 декабря 1905 года занесла в свой дневник «загадочную фразу» поэта: «...романс это Мармеладов, ночующий на барке» (там же). Быть может, эти слова тонко передают внутренний строй самого жанра городского романа, воплотившего в себе литературные традиции и в то же время принципиально связанного с глубинами массовой народной культуры.

Блок считал, что художник должен пройти через культуру современного города, окунуться в «сине-лиловый сумрак <...> при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням». Для Блока звучащие голоса современного города имеют особый глубинный смысл, принципиально отличный от пошлости меркантильного псевдоинтеллигентского мира. «Блок сознательно соизмерял свою лирику с массовым бытовым романсом, который ему, поэту с преимущественно слуховым восприятием действительности, был хорошо известен с голоса, в реальном звучании» (М.Петровский . Указ.статья).

Интерес к жанру романа возник у Блока достаточно рано.



Возможно, «Не пробуждай воспоминаний...» — один из первых романсов, подвергшихся непосредственному творческому переосмыслению поэта. Стихотворение, известное нам по первой строке «Усталый от дневных блужданий...» (1898), в черновом варианте содержало в себе 8 начальных строк, от которых Блок при публикации отказался, что было, по всей вероятности, связано со слишком тесной их близостью к романсу. Приводим полностью первоначальный текст этого стихотворения (с черновым и измененным в 1915 году вариантами третьей строфы):

Давно, давно воспоминанье
И отголоски лучших дней
Тревожат сонное молчанье
В груди страдающей моей.

Все ожиданья сладкой сказки,
Волшебных песен и цветов
И ласки, трепетные ласки
Промчались роем вешних снов.

Усталый от дневных блужданий
Уйду порой от суеты
И вспоминаю те страданья,
И вновь восходят те мечты...

Усталый от дневных блужданий
Уйду порой от суеты
Вспомнить язвы тех страданий,
Встревожить прежние мечты...

Когда б я мог дохнуть ей в душу
Весенним счастьем в зимний день?
О, нет, зачем, зачем разрушу
Ее младенческую лень?

Довольно мне нестись душою
К ее небесным высотам,
Где счастье брежит нам порою,
Но предназначено не нам.

В стихотворении Блока — характерный для романса ритмический рисунок, а ряд словесных оборотов прямо напоминает городской романс «Не пробуждай воспоминаний...»: *Давно, давно воспоминанье... и Не пробуждай воспоминаний...;*



лучших дней и минувших дней; в груди страдающей моей и в душе моей, сладкой сказки и мечтой прекрасной.

Однако отдельные конструкции близки и к романсу на слова Е. Баратынского «Разуверение», связанному с городским романсом общностью мотива роковой тоски по ушедшей любви: *и ласки, трепетные ласки промчались роем вешних снов* (у Блока), *и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям* (у Баратынского); *те мечты* (у Блока), *бывалые мечты* (у Баратынского); *уйду порой от суеты вспомнить язвы тех страданий* (у Блока), *и друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь* (у Баратынского); *дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай* (в романсе Д. Давыдова). Последний из приведенных примеров иллюстрирует бытующее в трех литературных произведениях образное отождествление тоски о прошедшей любви с болезнью. В городском романсе «Не пробуждай воспоминаний...» такого рода метафора отсутствует.

Адресат стихотворения Блока (вероятно, Л.Д.Менделеева) в данном случае не столь важен для понимания его особенностей и новизны по сравнению с названными романсами XIX века.

Ключ к пониманию, скорее всего, запрятан в рукописной помете Блока к седьмому стиху приведенного выше чернового варианта стихотворения: («И ласки, трепетные ласки») — «т.е. мысли о них». Следовательно, речь идет о прозрении Прекрасного начала, о Женственности вообще, поэтому-то конкретное лицо не присутствует в главном плане стихотворения, поэтому стихотворение менее драматично (нет привычного для упомянутых романсов обращения на «ты»), менее страстно и более лирически отвлеченно и символично, чем, например, «Не пробуждай воспоминаний...». Не случайно, что последние две строфы не несут на себе каких бы то ни было лексических и стилистических следов предшествующих романсов; Блок идет от романса в традициях «Не пробуждай воспоминаний...» к лирическому стихотворению, к своей личной теме:

Когда б я мог дохнуть ей в душу
Весенним счастьем в зимний день?
О, нет, зачем, зачем разрушу
Ее младенческую лень?



Довольно мне нестись душою
К ее небесным высотам,
Где счастье брежжит нам порою,
Но предназначено не нам.

Работая над стихотворением «Усталый от дневных блужданий», поэт шел от литературы к городскому фольклору («Не пробуждай воспоминаний...»), а от народной стихии романса к своему самобытному творчеству. Прямое свидетельство такого пути — первые 8 строк стихотворения, оставшиеся по воле поэта при его жизни только в рукописи.

Бытие «Не пробуждай воспоминаний...» подтверждает, что возникший в начале XIX века в России жанр романса явился горячей точкой соприкосновения фольклора и литературного процесса, своеобразным стилистическим индикатором связи широкой городской культуры и высокого творчества.

Журнал «Русская речь», 1985, № 1, с. 132-138

ГАМАЮН, СИРИН, АЛКОНОСТ

Фольклор и живопись в двух стихотворениях

В автобиографии 1915 года Александр Блок вспоминал, как осенью 1900 года он понес свои стихотворения «Гамаюн» и «Сирин и Алконост» редактору одного из журналов, теоретику педагогики и историку литературы В.П.Острогорскому. «Пробежав стихи, он сказал: «Как Вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете бог знает что творится» — выпроводил меня со свирепым равнодушием». Можно предположить, что В.П.Острогорский углядел в стихах молодого поэта далекие от жизни сказочные фольклорные реминисценции.

Ныне известно, что лирика Блока на протяжении всего творческого пути непосредственно не тяготела к древней мифологии, к духовным ценностям, возникшим на заре существования человечества. Блок проявлял известный историко-литературный интерес к фольклору, о чем свидетельствует, к примеру, его работа «Поэзия заговоров и заклинаний». Мифотворчество же, пожалуй, никогда не имело



для Блока столь принципиального значения, как, например, для его современников — поэтов Вячеслава Иванова или Константина Бальмонта. Блоку были чужды и реконструирование сюжетов античной мифологии (В. Иванов), и поиски эстетических ценностей в языческом культе стихий природы (К. Бальмонт).

Поэта больше интересовала современная народная массовая культура. Отсюда — обращение к «цыганской теме», к романсу. Образцы древнего фольклора если и появляются в лирике Блока, то обязательно приобретают качественно новое, блоковское, значение и звучание и, как правило, имеют опосредствующие, не фольклорные источники. Это положение ярко иллюстрируют два ранних стихотворения — «Гамаюн, птица вещая» (23 февраля 1899 года) и «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» (23-25 февраля 1899 года). В «Собрании стихотворений» 1911 года издания в примечании к первому стихотворению Блок заметил, что оно было «внушено картиной Васнецова», изображающей Гамаюна — райскую птицу-вещунью с человеческим лицом; в рукописях обоих стихотворений — подзаголовки: «Картина В. Васнецова». В начале 1899 года в Петербурге состоялась выставка картин В. М. Васнецова, очевидно, после ее посещения у Блока возник замысел написать названные стихи.

Специфические черты мироощущения раннего Блока явственно вырисовываются именно при сопоставлении стихотворения «Гамаюн, птица вещая» с одноименной картиной В. М. Васнецова и послужившим ей источником фольклорной птицей-девой.

Миф о Гамаюне был привнесен в древнюю Русь из восточных мусульманских легенд и поверий. Легендарная вещая птица обладала способностью предвещать избранному владычество. Ее графическое изображение часто встречается на древнерусских предметах (знаменах, утвари, доспехах и др.).

Настроение тревоги и печали присутствует в произведении В. М. Васнецова «Гамаюн — птица вещая» (1897 г.). Взгляд фантастической птицы-девы наполнен недоумением и предвосхищением чего-то трагического, момент пророческого откровения вот-вот настанет, поэтому губы чуть приоткрыты; вся осанка свидетельствует о внутренней напряженности; одно крыло полуприподнято, другое — прижато к телу, когти сжимают ствол сказочного дерева.

«Гамаюн» Васнецова стал своеобразной ретроспекцией



«Гамаюна» Блока, придавшего мифологическому персонажу качественно новые, современные поэту символические оттенки смысла.

На глядах бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!

Гамаюн, птица вещая.
(Картина В. Васнецова)

Настроение грусти и тревоги, присущее творению Васнецова, прежде всего и вызвало пристальное внимание поэта. Как известно, на мировоззрение молодого Блока оказала влияние философия Вл. Соловьева (1853-1900) (см. об этом, например, в исследованиях З.Г. Минц «Поэтический идеал молодого Блока» («Блоковский сборник», Тарту, 1964) и Д.Е. Максимова «Поэзия и проза Ал. Блока», Л., 1981). Соловьевская мысль о том, что путь в царство «истины, добра и красоты» пролегает через катастрофу мира здешнего, имеет место в лирике Блока. Без хаоса и разрушения отжившего невозможны синтез и гармония:

Увижу , как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.
Я буду одиноко ликовать
Над бытия ужасной тризной.

1900

Закономерным представляется то, что миф о Гамаюне Блок включает в движение истории, наделяет эпохальным смыслом. Мотивы его раннего стихотворения звучат



впоследствии в цикле «На поле Куликовом» (1908). Характерно, что поэт публикует «Гамаюна» («Киевские вести», 27 апреля 1908) незадолго до начала работы над названным циклом. Четвертая строфа четвертого стихотворения этого цикла «Опять с вековой тоскою...» непосредственно перекликается со строками «Гамаюна»; при этом в 1908 году повествование ведется от лица самого поэта:

Из «ГАМАЮНА»

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар
Злодеев силу, гибель правых...

Из «ОПЯТЬ

С ВЕКОВОЮ ТОСКОЮ...»

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Гамаюн Блока уже не только мифологическая вещая птица-дева, предрекающая владычество избранным, она — символ поэта, художника-пророка. В определенном смысле стихотворение «Гамаюн» восходит к пушкинскому пониманию роли поэта. Не случайно, что В.Н. Орлов назвал свою монографию о жизни и творческом пути А. Блока «Гамаюн» (Л., 1978 — первое издание; Л., 1980 — второе издание).

Качественно новые значения образа в данном случае трансформируют миф о вещей птице в символ. Поэт привносит в миф индивидуальные оттенки значения, включает его в движение современной истории. Углубленное напряженное молчание васнецовского персонажа, его встревоженная печаль воплощаются в пророческие вещания птицы-девы. Образ Гамаюна органически сближается с Блоком-лириком. Поэтому произведение Блока непосредственно продолжает и углубляет тему картины Васнецова. Здесь перед нами не только слияние двух видов искусств, но и творческое продолжение произведения художника в произведении поэта, возникшее по воле и желанию Александра Блока. Поэт наделяет васнецовский персонаж даром любви и трагической болью за судьбы мира — качествами, неотделимыми от гуманистических традиций русской поэзии:

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запёкшиеся кровью!



Быть может, вещая птица принимает на себя частицу грядущих человеческих страданий и крови, потому что настоящий поэт всегда весь в движении истории, потому что, по словам Блока, «не может сердце жить покоем, недаром тучи собралось».

Стихотворение Блока «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» было также навеяно аналогичной картиной В.М. Васнецова, о чем говорит подзаголовок в рукописи — «Картина В.Васнецова». Судя по всему, в древнерусской культуре образ Алконоста мог отождествляться с образом Гамаюна. Первоисточник легенды об Алконосте — древнегреческий миф об Алкионе, превращенной богами в зимородка. В древнерусских рукописях, на лубочных картинках Алконост — фантастическая птица с головой девы, чаще выступающая воплощением несчастной души (аналогичные трактовки встречаем у Васнецова и Блока). Напротив, также заимствованный из античной мифологии (легенда о Сиренах) образ Сирина в древнерусском творчестве, в отличие от средневекового западноевропейского, не был носителем тоски и печали. «В русских духовных стихах Сирин, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей своим пением» (Мифы народов мира. Энциклопедия, М., 1982, т. 2).

На картине «Сирин и Алконост. Сказочные птицы, песни радости и печали» (1896; ныне находится в Третьяковской галерее) В.М. Васнецов свободно разместил фантастические фигуры крылатых птиц-дев на фоне узорчатой листвы, сквозь которую просвечивает оранжевое закатное небо. Трагически-тревожное черное оперение Алконоста контрастно белоснежным крылам «счастья полного» Сирина.

Напомним стихотворение А.Блока:

Густых кудрей откинув волны,
Закинув голову назад,
Бросает Сирин счастья полный
Блаженств нездешних полный взгляд
И, затаив в груди дыханье,
Перистый стан лучам открыв,
Вдыхает все благоуханье,
Весны неведомый прилив...
И нега мощного усилья



Слезой туманит блеск очей...
Вот, вот сейчас распустит крылья
И улетит в снопах лучей.
Другая вся печалью мощной
Истощена, изнурена...
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна...
Напев звучит глубоким стоном,
В груди рыданье залегло,
И над ее ветвистым троном
Нависло черное крыло...
Вдали багровые зарницы,
Небес померкла бирюза...
И с окровавленной ресницы
Катится тяжкая слеза...

Сирин и Алконост. Птицы радости и печали

Если в стихотворении «Гамаюн» поэт домысливает и творчески углубляет соответствующий сюжет Васнецова, то текст «Сирин и Алконоста» прежде всего являет собою иллюстрацию и лирическую аналогию живописному сюжету. В этом поэтическом опыте Блока современность присутствует только опосредствованно, лишь постольку, поскольку он создан поэтом в общем контексте с «Гамаюном» и другими произведениями.

Как известно, в конце мая 1918 года в Петербурге возникло книгоиздательство «Алконост», и Блок принял в нем участие. О названии этого издательства поэт писал возглавлявшему его С.М. Алянскому 1 марта 1919 года: «Сегодня весь день я думал об «Алконосте». Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет, и очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года — равен году или десятку лет. Да будет «Алконост» («Бл. сб», Тарту, 1964 — «Блок и книгоиздательство «Алконост»).

В феврале 1921 года в заметке об издательстве «Алконост» Блок так охарактеризовал участвующих в нем писателей, принявших революцию: «Группа писателей видит размеры



развертывающихся мировых событий, наступление которых она предчувствовала и предсказывала. Поэтому она обращена лицом не к прошедшему, тем менее к настоящему. Она <...> всматривается в будущее. Этим определяется лицо издательства...» (там же).

В послереволюционные годы птица вещая Алконост приобретает для поэта существенное символическое звучание, связанное с движением истории. Поэтому Блок и публикует впервые свое раннее стихотворение в выходившем в издательстве «Алконост» журнале «Записки мечтателей» (1919, ^о1). Характерно отсутствие в этой публикации «Сирина и Алконоста» рукописного подзаголовка — «Картина В. Васнецова», это, очевидно, свидетельствует о стремлении Блока подчеркнуть то, что обстоятельства времени придали его раннему произведению самостоятельное звучание. Стихотворение появилось в свет вместе с другими юношескими опытами. Блок обращается к своему раннему творчеству, «полному надежды безмерной», потому, что надежды и предчувствия его юношеских стихов начали находить осуществление в действительности. Отношение Блока к Октябрьской революции характеризуют его произведения, статьи, письма, деятельность в Репертуарной секции Наркомпроса, в секции Исторических картин, возглавлявшейся А.М.Горьким.

Быть может, в 1919 году поэт увидел в своем образе Алконоста страдание о судьбах мира и зов туда, где «вдали — багровые зарницы». Не случайно, что в первом номере «Записок мечтателей» (1919) «Сирину и Алконосту» прямо предшествует стихотворение «Над старым мраком мировым...», в котором есть строки:

Ослепнут многие в лучах,
Привыкнув к мраку жизни сонной;
И самый мир сожжётся в прах,
Людскою страстью иссушённый.

Ранние стихотворения «Гамаюн, птица вещая» и «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» занимают определенное место в художественном мире Блока. Существенно, что они были опубликованы при жизни поэта по его воле спустя годы после их



создания. С творчеством А. Блока соотносимо известное высказывание поэта Марины Цветаевой: «...поэт с историей (курсив наш. — Е.Б.) отбрасывает все, что не на его генеральной линии — его личности, его дара, его истории. Выбирает его непогрешимый инстинкт главного» (Поэты с историей и поэты без истории).

Журнал «Русская речь», 1985, № 4, с. 131-136

ОБ ЭПИСТОЛЯРНОМ ИСТОЧНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЯ "НОЧЬ"

Стихотворение Блока «Ночь», с которым связано это сообщение, было впервые опубликовано 12 июня 1906 года в «Литературном приложении» к газете «Слово». Впоследствии оно вошло в первое издание сборника «Нечаянная радость» (1907) и во вторые книги собраний стихотворений 1911 и 1916 годов, вышедших в издательстве «Мусагет». В названных изданиях «Ночь» печаталась без первой строфы. В своем не увидевшем свет исследовании «История стихотворений Александра Блока» литературовед Р.В. Иванов-Разумник замечал, что в авторском экземпляре второй книги 1911 года (ныне находится в ИРЛИ) «переставлены четвертая и пятая строфы окончательного текста, но потом на полях карандашом написано: «по-прежнему»; последняя строфа зачеркнута» (РГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.2, л.85). В таком сокращенном виде (четыре строфы) стихотворение появилось в собрании стихотворений 1916 года. Наконец, в последнем прижизненном издании второй книги стихов («Земля», 1919). Блок впервые включил в «Ночь» первую строфу и вновь возвратил последнее четверостишие. В дальнейшем этот текст был принят за канонический и воспроизводился в последующих изданиях. Факт присутствия стихотворения во всех прижизненных собраниях, подготовленных Блоком, свидетельствует о том, что поэт отводил ему определенное место в своем творческом пути (известно, что ряд стихотворений по различным соображениям исключался Блоком из тех или иных переизданий).

В собраниях сочинений советского периода в двенадцати



томах (т.2, 1932) и в восьми томах (т.2, 1960) стихотворение «Ночь» датировано 19 ноября 1904 года. Авторы одного из недавних исследований, ознакомившись с материалами ИРПИ, заметили, что первый набросок «Ночи» датирован 11 октября 1904 года, а окончательный вариант — 19 ноября 1904 года (И.В.Владимилова, М.Г.Григорьев, К.А.Кумпан. Блок и русская культура XVIII века. В кн.: «Блоковский сборник», IV, Тарту, 1981, с.50. Автограф стихотворения Блока «Ночь», датированный 19 ноября 1904 года, хранится в ИРПИ, ф.654, оп.1, ^о 4, лл. 40об. - 41). В уже названном научном труде Р.В.Иванов-Разумник выражает сомнение по поводу непосредственной связи чернового наброска 11 октября со стихотворением «Ночь» (РГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.2, л.85). Набросок 11 октября (см.: «Записные книжки Ал. Блока», Л., 1930, с.38) связан с известным нам текстом стихотворения присутствием только одной одинаковой художественной реалии — «красного нимба».

Итак, дата создания «Ночи» устойчиво закрепилась за 19 ноября 1904 года. При рассмотрении этого произведения мы обратимся к наиболее полному тексту, напечатанному по воле А. Блока в 1919 году:

НОЧЬ

Маг, простёрт над миром брений,
В млечной ленте — голова.
Знаки поздних поколений
Счастье дольного волхва.

Поднялась стезею млечной,
Осиянная — плывет.
Красный шлем остроконечный
Бороздит небесный свод.

В длинном черном одеянии,
В сонме черных колесниц,
В бледно-фосфорном сиянии
Ночь плывет путем цариц.



Под луной мерцают пряжки
До лица закрытых риз.
Оперлась на циркуль тяжкий,
Равнодушно смотрит вниз.

Застилая всю равнину,
Косы скрыли пол-чела.
Тенью крылий — половину
Всей подлунной обняла.
Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?
Кто Ты, Женственное Имя
В нимбе красного огня?

Авторы статьи «А.А. Блок и русская культура XVIII века» («Блоковский сборник», IV) обратили внимание на приведенное выше стихотворение и отметили, что в процессе работы над кандидатским сочинением «Болотов и Новиков», вчерне завершённым 14 октября 1904 года, поэт читал и конспектировал монографии С.А.Петровского «Очерки из истории русского масонства в XVIII в.»; А.И.Незеленова «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», в которой есть глава о масонстве; А.Н.Пыпина «*Notunculus*» и т.п.

«Ночь наделена масонскими атрибутами: она в черном одеянии, в окружении черных колесниц (ср. *черные покрывала и черный гроб* в масонской ложе). <...> Наиболее интересна четвертая строфа. <...> Орденские ложи убирали сукном, расшитым серебряными *пряжками* «в виде слез». *Циркуль же* — важнейший масонский символ — знак строителей Соломонова храма» («Блоковский сборник», IV, с.51.) Очевидно, что атрибуты масонского культа присутствуют в стихотворении, безусловно, что эти атрибуты позаимствованы из названных книг и исследований. Но являют ли они собою нечто большее, чем ряд понятий, приобретших в контексте поэзии Блока существенно обновленное эстетическое значение? В письме С. Соловьеву от 21 октября 1904 года Блок сообщал: «На днях я закончил большое университетское сочинение, которое лишало меня возможности читать интересное» («Литературное наследство», 1980, т.92, кн.1, с.381). Следовательно, не так уж велико было



обаяние того, что поэт так старательно и добросовестно должен был конспектировать в связи с работой над кандидатским сочинением.

В упомянутой статье в «Блоковском сборнике», IV отмечено, что в стихотворении «Ночь» намечена оппозиция божественного и магического, Ночь («Женственное Имя», «Ты») противопоставлена магу, простертому над «миром брений», София противостоит волхву. Как подчеркнуто в статье, это связано с напряженной борьбой младших символистов со старшими. Отсюда следует, что образ мага в «Ночи» чуть ли не намек на В.Брюсова. Действительно, Брюсову были чужды эсхатологические прозрения Вечной Женственности, присущие поколению младших символистов (А.Блок, А. Белый, С. Соловьев). Брюсов прямо высказывался об этом в стихотворениях «Андрею Белому» и «Младшим» (1903; написано сразу же после разговора с П. Перцовым о творчестве Блока (П.Перцов. Брюсовское стихотворение «Младшим». «Тридцать дней», 1939, ^o 10-11, с.127):

Там, там, за дверьми —
ликование свадьбы,
В дворце озаренном
с невестой жених!
Железные болты сломать бы,
сорвать бы!..
Но пальцы бессильны,
и голос мой тих.

Приняв предложение о том, что образ мага — носитель мироощущения «старшего символиста», можно было бы углядеть в стихотворении «Ночь» парадоксальный для лирики Блока момент: в последней строфе «Ночи» Блок говорит не от первого лица, а надевает маску самосознания «старшего символиста», то есть «меня» — не Блока, а «меня» — постороннего:

Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?

Однако, как известно, в лирических стихотворениях Блок не примерял на себя масок чужого мировоззрения. К тому же,



например, в стихотворении «Младшим» Брюсов декларирует то, что он *не видит и не слышит* ирреальной ж е н с т в е н н о й стихии. Лирический герой «Ночи», не обладая полной знания о Ней, видит Ее воочию, изображает Ее облик, характеризует движение по «небесному своду». О том, что в «Ночи» поэт



Письменный стол Александра Блока

говорит о себе, свидетельствует анализ этого стихотворения в контексте определенного отрезка творческого пути Блока, и прежде всего, как только что выяснилось, письма к Блоку Александра Кондратьева от 16 ноября 1904 года (за три дня до работы над «Ночью»).

Прежде чем привести текст названного письма — несколько слов о петербургском литераторе А. Кондратьеве, рано сблизившемся с Блоком, неоднократно встречавшемся с ним в период с 1902 по 1907 год и несколько раз позже (см.: предисловие Р.Тименчика к письмам А.А. Кондратьева к Блоку (1903-1912). В кн.: «Литературное наследство», т.92, кн.1.). Творчество Кондратьева в разное время положительно оценивали В.Брюсов, И.Анненский и А.Блок. Известно четырнадцать писем Кондратьева к Блоку, местонахождение писем Блока к Кондратьеву не установлено.

Итак, 16 ноября 1904 года (за три дня до работы над стихотворением «Ночь») А.Кондратьев направил Блоку письмо, навеянное чтением сборника «Стихи о Прекрасной Даме»:

«Дорогой Александр Александрович.

В настоящее время я вновь перечитываю Вашу книгу. Во мне возникло при этом несколько вопросов, которых без Вас не



решить. Пожалуйста, напишите мне ответ, т.к. я лишился даже сна... I. Начну с эпитафии. В нем Вл. Соловьев говорит о дочери Темного Хаоса*. Я понимаю под нею Душу мира, земли, т.е. особу прямо противоположную Софии. Как по-Вашему, не писал ли он в честь обеих?

<...> Будьте добры написать мне, соглашаетесь ли Вы с этим противопоставлением и с кем отождествляете Вы свою «Прекрасную Даму»: с Софией или Ахамофой — Изидою — Геей II. «Изменишь облик Ты» кто: София или Ахамофа? III. «Вечная Жена» — неужели это Женское Начало Божества, от которого открещивался Соловьев?

Если София и Изидо-Гейя, по-Вашему, одно и то же, пожалуйста, напишите в нескольких словах (я постараюсь догадаться), как Вы объясняете тождество или где можно прочесть. Пожалуйста, не откажите («Литературное наследство», т.92, кн.I, с.557. В комментариях к первой публикации этого письма никак не оговаривается его связь со стихотворением «Ночь»).

В этом письме А.Кондратьев обозначает наметившееся уже в вышедшей в свет 25 октября 1904 года книге «Стихи о Прекрасной Даме» (М., «Гриф», 1905) противопоставление света и тьмы, небесного и земного в женственном начале привычными для него мифологическими образами.

Известно, что идея Прекрасной Дамы была идеальной, хотя и была связана с фактами биографии Блока. Ирреальная природа этого образа уже в книге «Стихи о Прекрасной Даме» называлась Блоком «Непостижимой» и «Непостижной». С непостижимой относительностью идеала связана и полисеманτικότητα его обозначения в сборнике: «Она», «Ты», «Величаяя», «Вечная Жена», «Святая», «Тихая», «Милая», «Дева», «Заря», «Купина», «Ясная», «Осанна», «Лучезарный Лик» и, наконец, «Непостижимая» и «Непостижная».

Таким образом, письмо А. Кондратьева к Блоку от 16 ноября 1904 года вошло в резонанс с творческими исканиями поэта. Кондратьев выразил своим «мифологическим языком» антиномию Женственного Лика, уже имевшую место в сборнике «Стихов о Прекрасной Даме». Письмо 16 ноября должно было навести Бло-

*В первом издании «Стихов о Прекрасной Даме» отдел «Неподвижность» открывается эпитафией третьей строфой стихотворения Вл. Соловьева «На Сайме зимой» (1894).



ка на размышления и обратить его к той эстетической проблеме, которая уже имела место в его лирике, ибо в письме был поставлен, хотя и в достаточно прямолинейной форме, вопрос о содержании центрального образа. Это письмо, как установлено нами, выступило своеобразной реминисценцией для стихотворения «Ночь» (19 ноября). Продолжая размышления Кондратьева, осмысляя начало своего творческого пути под тем углом зрения, о котором сказано выше, в «Ночи» Блок ставит самому себе вопрос об Имени, занимающем столь важное место в его жизни:

Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?
Кто Ты, Женственное Имя
В нимбе красного огня?

В вошедшем в «Стихи о Прекрасной Даме» стихотворении «Я бежал и спотыкался...», посвященном Андрею Белому и написанном 18 октября 1903 года в период апогея эпистолярной дружбы с ним, поэт говорит о переживании, сходном с переживанием в последней строфе «Ночи»:

Из огня душа твоя скована
И вселенской мечте предана.
Непомерной мечтой взволнована —
Угадать Её Имена.

Связь «Ночи» с письмом от 16 ноября не ограничивается последней строфой. Судя по всему, Блок привлек и один из мифологических персонажей, названных Кондратьевым. Речь идет об Ахамофе.

Ахамофа (Ахамот) в представлениях гностиков — последователей Валентина (из Египта, II в.) — являет собою начало падшей в хаос Софии Премудрости божией. София возжелала в порыве страсти устремиться к *недостижимому безначальному*, что привело к излиянию части сущности Софии, из которой возникла Ахамот. Ахамот являла собой *неоформленную* субстанцию тьмы, «вся жизнь которой сводилась к аффективно-страдательным состояниям (печаль, неведение и т.п.)» (см.: С.С.Аверинцев. Ахамот. «Мифы народов мира», т.1, М., 1980, с.136). Ахамот присуще мучительное и дисгармоническое существование, выступившее про-



образом оформляемого ею душевно-телесного уровня бытия. Она порождает демиурга, который *«при ее тайном, неведомом ему содействии творит материальный космос»*.

Очевидно, что содержание мифа об Ахамот заинтересовало поэта, ибо в рамках сборника «Стихи о Прекрасной Даме» уже намечалась трансформация «Непостижимого» и «Лучезарного Лица», сталкивающегося с «сине-лиловым сумраком» цивилизации. Заметим, что, «мотив, связываемый Блоком (вслед за Вл. Соловьевым) с гностическим мифом о пленении Души мира, лежит в основе сюжета ряда его произведений» (см.: М.В.Безродный. Серпантини — кто она? В кн.: «Мир А. Блока». «Блоковский сборник», V, Тарту, 1985, с.57, 58). Генезис София — Ахамофа мог быть воспринят Блоком как адекват его поэтического движения первых лет творческого пути. Этот генезис нашел свое воплощение в стихотворении «Ночь», писавшемся под впечатлением письма Кондратьева. «Осиянная», «крылья», «нимб красного огня», «красный шлем» — поэтические реалии, связанные с изображениями Софии в русской иконографии XV-XVI веков, на которых София имеет облик ангела, ее лик и руки огненного цвета, за спиной — два крыла, она одета в царское облачение. Одновременно в стихотворении Женственный образ отождествлен с ночью, то есть с субстанцией тьмы (Ахамот), пленившей «тенью крылий» половину всей подлунной, «всю равнину», то есть материальный космос, *себя* же поэт ощущает «магом», «дольним волхвом», видящим перед собою лик, но не ведающим его тайны так же, как не ведал тайну Ахамот сотворенный ею демиург.

Ныне хорошо известно, что лирика Блока никогда непосредственно не тяготела к мифологии, Блок специально не занимался реконструированием мифологических сюжетов, как, например, Вяч.Иванов или А.Кондратьев. Образы древнего фольклора если и появляются у Блока, то обязательно обретают качественно новое блоковское значение и звучание и, как правило, имеют опосредствованные нефольклорные источники. Так же, как в 1899 году обращение Блока к образам Гамаюна и Сирина и Алконоста было навеяно двумя одноименными картинами В.М. Васнецова (см.: Е.М.Бень. Гамаюн, Сирин и Алконост. «Русская речь», 1985, ^o 4), письмо Кондратьева от 16 ноября 1904 года вызвало к жизни мифологический пласт стихотворения «Ночь», то есть выступило опосредствованным конкретным источником мифа. Не лишено



оснований возникшее предположение, что Блок послал Кондратьеву «Ночь» в ответном письме. Действительная жизнь со своими противоречиями все более овладевала сознанием Блока, пересекалась в его поэзии с идеальным ирреальным миром ранних стихотворений, порождала антиномии добра и зла в творчестве, что вело к постепенному изменению и конкретизации эстетического идеала.

В «Ночи» противоречия внутреннего движения поэта были переданы посредством сочетания двух повествовательных пластов: первого — мифологического, навеянного содержанием письма Кондратьева от 16 ноября 1904 года, и второго — почерпнутого из исследований о масонстве, которое, вероятно, интересовало Блока причудливым сплетением светлого и темного начал. Очевидно, что в стихотворении «Ночь» поэт говорит прежде всего о себе, о своем душевном переживании, а не об отстраненном лирическом герое.

В сентябре 1904 года вышла в свет статья Андрея Белого «О целесообразности», в которой, в частности, подчеркивалось: «Культ Вечной Жены вырастает из глубин подсознания. Он превращает познающих в рыцарей «Прекрасной Дамы». Образует новый рыцарский орден, не только верящий в утренность своей звезды, но и познающий Ее» («Новый путь», 1904, ⁹ 9, с.153). Ознакомившись с этой статьей, Блок писал Белому 21 октября 1904 года: «... статьи я не могу осилить. Тебя, вероятно, просто не пойму. Должно быть, мне даже не нужно уходить туда, или, м<ожет> б<ыть>, время прошло» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», М., 1940, с.111).

Не случайно, что в первом издании книги стихотворений «Нечаянная радость» (1907) стихотворение «Ночь», в котором рефлетируется и подвергается глубокому сомнению «утренний» идеал ранней лирики Блока, включено в третий раздел «Магическое», куда вошли произведения, обращенные к «мертвому пику» города: «В кабаках, в переулках, в извивах...», «Иду — и все мимолетно...», «Вися над городом всемирным...», «Еще прекрасно серое небо...».

Стихотворение «Ночь» и стоящие рядом с ним объясняющие его факты биографии и творчества А.Блока свидетельствуют о процессе изменения мировоззрения Блока, все более тяготевшего к действительной жизни. В июне 1906 года Блок писал латышскому писателю Вольдемару Дамбергсу о том, что стихов, подо-



бных «Стихам о Прекрасной Даме», писать больше нельзя. Ныне местонахождение письма Блока неизвестно, его содержание отражено в ответном письме В. Дамбергса от 26 июня 1906 года из Митавы:

«...Ваше письмо меня очень обрадовало; оно пробудило во мне много отголосков и отчасти подтвердило некоторые мои неясные догадки и предчувствия.

Дело в том, что я не мог вполне ассимилировать символизм и вполне охватить его как литературное движение, потому что нет и года, как вообще с ним ознакомился. В сравнительно короткий промежуток времени освоившись с ним и приняв его тезисы, я в последнее время почувствовал, что остановиться только на нем нельзя, или, вернее говоря, на тех рамках, в которые он до сих пор воплотился. Ограничившись и уйдя в вышину и в глубь мистики, он (как мне кажется) как бы сузился и стал недостижимым...

Вы думаете, что стихов, подобных «Стихам о Прекрасной Даме», писать больше нельзя. Может быть, только такие нельзя, но такие, мне кажется, можно, и они очень хороши. Они мне понравились нежностью, прозрачностью и часто строгостью рисунка» («Литературное наследство», 1987, т.92, кн. IV, с.425).

Журнал «Вопросы литературы», 1988, ^о 6, с. 273-279

ЗА СТРОКАМИ АВТОГРАФОВ

7 августа 1988 года на традиционно проходящем в Шахматове Дне памяти А.А.Блока Е.Д.Якушкин передал автографы из своего домашнего собрания подмосковному Историко-литературному заповеднику поэта.

Подлинники произведений, дневниковых записей, писем Блока составляют «золотое ядро» его фондов в Рукописном отделе Пушкинского дома и в РГАЛИ. Немало автографов поэта хранятся в других государственных хранилищах Москвы и Петербурга. А вот в домашних архивных собраниях их можно встретить не так уж часто. Документы, публикуемые Е.Д.Якушкиным, отдельными штрихами пополняют наше знание биографии поэта и его



родственников.

Анкета «Признания» датирована шестнадцатилетним Блоком «Наугейм, 21 июня (3 июля) 1897» (в то время он вместе с матерью и М.А. Бекетовой находился на германском курорте Бад-Наугейм). Бекетова включила эту анкету в свою вторую книгу о Блоке «Александр Блок и его мать» (Л., 1925, с.67-68). Позже она вошла в седьмой том восьмитомного Собрания сочинений (М.-Л., 1963). Перепечатывалась анкета и в других изданиях, но местонахождение ее подлинника после смерти М.А.Бекетовой не было известно.

В автографе есть пропущенный в Собрании сочинений пункт: *«Мой любимый цветок... роза»*. Казалось бы, знакомство с подлинником вносит незначительные коррективы. Тем не менее неизвестная ранее запись юного поэта по-своему знаменательна: образ розы станет одним из неизменных символических контрапунктов в творчестве Блока (назовем хотя бы драму «Роза и Крест», написанную в 1913 году).

Стихотворение «Вот они — белые звуки...» создано 5 апреля 1903 года и впервые опубликовано в московском «Альманхе книгоиздательства «Гриф» (1904), а затем вошло в первое издание «Стихов о Прекрасной Даме», увидевшее свет 25 октября 1904 года. Позже Блок включил его и в первый том собрания своих стихотворений (издательство «Мусагет», 1911). Однако в авторском экземпляре этого издания поэт зачеркнул стихотворение, и оно не было напечатано в трех последующих подготовленных им при жизни первых томах собрания стихов 1916, 1918 и 1922 годов.

Текст публикуемого автографа, в отличие от известного читателю окончательного текста стихотворения, не имеет заглавной надписи — «При посылке белой Азалии», но содержит посвящение «Л.Д.М.» — Любви Дмитриевне Менделеевой — будущей жене поэта. Кстати, аналогичная помета «Л.Д.М.» есть в рукописях многочисленных ранних стихотворений Блока, а также в «Хронологическом указателе» стихотворений, составленном поэтом. Между прочим, с автографом стихотворения «Вот они — белые звуки...» ознакомился еще в 1930-е годы литературовед Р.В.Иванов-Разумник, что видно из его неопубликованного труда «История стихотворений Александра Блока» (РГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр. 2, л.43).

Последний из автографов поэта представляет собой чисто-



вой вариант завершающих двадцати восьми строк третьей главы поэмы «Возмездие», над которой Блок работал с 1910 года до последних дней жизни — июля 1921 года. Не исключено, что этот отрывок датируется 1914 годом, ибо был напечатан в том же году в третьем выпуске альманаха «Сирин», а следовательно незадолго до того должен был переписываться автором начисто. Может быть, перед тем как отослать стихи «Когда ты загнан и забит...» в альманах, Блок переправил их для прочтения своей матери, А.А. Кублицкой-Пиоттух, о чем нам сегодня может рассказать надпись на конверте, в который когда-то был вложен этот автограф, имеющий некоторые расхождения с окончательным текстом концовки «Возмездия». Вместо: *«И тяжелит ресницы иней...»* — *«И серебрит ресницы иней...»* Вместо: *«И в этот несравненный миг...»* — *«И в этот незабвенный миг...»*

Предложенные вниманию читателя две деловые записки, написанные самым близким Блоку человеком, его матерью Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух (1860-1923), непосредственно являются фактами биографии поэта. Вот текст первой из них:

«Во имя Отца и Сына и Св.Духа. Аминь.

Находясь в здравом уме и твердой памяти, пишу последнюю мою волю. Завещаю, чтобы в случае моей смерти, сын мой Александр ни в каком случае не был поручен своему отцу, Александру Львовичу Блоку. Завещаю моим родителям взять его к себе на воспитание до полной его независимости, а в случае смерти родителей, прошу отдать его, точно так же до полной независимости, сестре моей Марье Андреевне Бекетовой.

Жена штабс-капитана гвардии Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух. Шахматово 1894 года 29-го июля».

В связи с публикацией этого завещания есть смысл кратко напомнить о взаимоотношениях матери Блока с ее первым мужем Александром Львовичем Блоком (1852-1909) — профессором кафедры государственного права Варшавского университета. 7 января 1879 года Александра Андреевна Бекетова вышла замуж за будущего отца поэта и перебралась с ним в Варшаву. Осенью 1880 года Блоки приехали в Петербург, где в «ректорском доме» университета 16 ноября родился будущий поэт. После рождения



сына его мать больше не вернулась к мужу в Варшаву, несмотря на его исключительно настоятельные просьбы. М.А.Бекетова вспоминала, что за время совместной жизни с ее сестрой Александр Львович раскрылся не только как человек весьма одаренный и наделенный богатым душевным миром, но и как личность неуравновешенная, жестокая и даже деспотическая. В 1889 году в связи со вторым замужеством мать Блока добилась указа Синода о расторжении брака с первым супругом.

Вероятно, официальное разрешение на брак сына с Любовью Дмитриевной от 23 мая 1903 года непосредственно предшествовало состоявшемуся через день — 25 мая причащению и обручению невесты и жениха в петербургской университетской церкви (А.А. и П.Д.Блок обвенчались 17 августа 1903 года в селе Тараканово, находившемся рядом с имениями Блоков и Менделеевых). Кублицкая-Пиоттух засвидетельствовала:

«Сим удостоверяю, что против брака сына моего от первого брака, студента Императорского с.-петербургского университета Александра Александровича Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой с моей стороны препятствий не будет. Жена полковника лейб-гвардии гренадерского полка

Александра Кублицкая-Пиоттух.

23 мая 1903 г. С.-Петербург».

Еще одна реликвия домашнего собрания Якушкиных — подлинник письма двоюродного брата поэта по отцовской линии писателя Георгия Петровича Блока (1888-1972) от 9 марта 1922 года М.А.Бекетовой, готовившей к изданию свою первую книгу о племяннике «Александр Блок» (Пг., «Алконост», 1922). Кстати, знакомство Георгия Петровича с поэтом состоялось только 4 декабря 1920 года (РГАЛИ, ф.55, оп.1, ед.хр.168, лл.8-9), а их переписка началась чуть раньше. Итак, письмо Г.П. Блока:

«Многоуважаемая Мария Андреевна

Согласно Вашему общему желанию, посылаю автобиографию Александра Львовича. Она преимущественно «ученая», но «шум», «мечта» и «тишина» очень характерны. В венгеровском словаре за ней следует биография, писанная Слонимским. Тут же и точная дата рождения А.Л. — 20 окт. 1852.



Наш разговор заставил меня пристальнее заняться Черкасовыми и вот что за эти дни мне удалось узнать из разных разбросанных печатных источников.

Прежде всего я, кажется, ошибочно назвал моего прадеда Александром Ивановичем — он был также Александр Львович.

Он был из дворян Казанской губ. Родился 16 августа 1796 г., умер в сентябре 1856 г. По-видимому, в молодости служил в гвардии, в артиллерии. Служить начал, должно быть, в 1819 году. Псковским гражданским губернатором был с 26 февраля 1845 г. по день смерти.

Были у него братья Иван и Николай, оба гвардейские уланы.

В «Русском Архиве» за 1878 г. (кн. III, стр. 519) есть очень «уютные» мемуары, сообщенные И. С. Листовским и озаглавленные: «Рассказы из недавней старины». В них нашлось вот что: «В Пскове был губернатором Александр Львович Черкасов. Государь, зная его как честнейшего труженика, не имеющего никакого состояния и обремененного семейством, при замужестве каждой дочери жаловал на приданое».

Будьте добры, пожалуйста, передайте Любове Дмитриевне, что по обоим ее делам (Венгеров и Шляпкин) я усиленно хлопочу. Нашел людей, которые стоят около этого, и на них давлю. Если отыщется, думаю, что удастся получить их совсем.

О Черкасовых буду еще искать. Надеюсь, что ко времени, когда Вы будете работать над подробными «Материалами», мне удастся достать портреты двух прадедов: Александра Ивановича Блока и А. Л. Черкасова. Вечер, проведенный у Вас, был чудесный. Тема этого вечера — и старина и самое последнее — мне безгранично дорога. Очень хотелось бы еще к Вам придти.

Искренно Вас уважающий и всегда готовый к услугам

Г. Блок.

Прилагаю изображение нашего герба, которым Вы интересовались. Другое изображение на конверте. Если бы потребовалось лучшее, можно достать в Пушкинском Доме, в Сенате и в Публичн. библиотеке. Там в красках».

В упомянутой Г. П. Блоком краткой заметке Л. Слонимского, помещенной в третий том первого издания критико-биографического словаря С. А. Венгерова, утверждалось, что А. Л. Блок своими жизненными понятиями «обязан не только родителям, но и некоторым



домашним наставникам — людям преимущественно университетского образования, по духу принадлежащим к двум известным русским поколениям (40-х и 60-х годов)». Окончив в 1870 году новгородскую гимназию с золотой медалью и поступив на юридический факультет Петербургского университета, юноша «все более и более сосредотачивался на уединенных книжных занятиях или на отдаленных от городского «шума» мечтах...» (Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. III, СПб., 1892, с. 397).

О деде отца поэта по материнской линии А. П. Черкасове, о котором говорит Г. П. Блок, М. А. Бекетова писала в книге «Александр Блок» (1922): «Прадед поэта, Александр Львович Черкасов, судя по скудным сведениям, дошедшим до нашего времени, слыл человеком из ряда вон деспотичным и жестоким <...> Александр Львович служил в Сибири (очевидно, до 1845 года — прим. Евг. Б.). Все его четыре дочери получили домашнее образование» (с. 12). О деде же отца поэта по линии отцовской Александре Ивановиче Блоке Бекетова сообщила, что он снискал государевы милости и был награжден «несколькими именьями в разных уездах петербургской губернии» (там же, с. 11).

Не удалось прояснить, какие именно труды историка литературы и библиографа Семена Афанасьевича Венгерова (1855-1920) и профессора Петербургского университета Ильи Александровича Шляпкина (1858-1918), между прочим, преподававшего и Блоку, обещал прислать корреспондент Любови Дмитриевне.

Журнал «Наше наследие», 1989, ^о 2, с. 79

БЛОК В РЕПЕРТУАРНОЙ СЕКЦИИ

В марте 1918 года при Театральном отделе (ТЕО) Наркомпроса возникла Репертуарная секция, предназначенная для участия в создании максимально связанного с живой жизнью театра. Среди задач секции — подготовка репертуара для государственных, коммунальных и народных театров и оказание им посильной помощи, установление связи с провинциальной сценой, издание русских и переводных пьес и литературы о драматургии и



театре. Секция непосредственно подчинялась петроградскому ТЕО Наркомпроса во главе с А.А.Голубевым и его заместителем В.Э.Мейерхольдом.

А.Блок постоянно участвовал в работе секции со времени ее основания до марта 1919 года. В октябре 1918 года поэт стал ее председателем, а в ноябре выступил с «Воззванием Репертуарной секции». Первоначально, как следует из выступления Мейерхольда от 18 декабря 1918 года на заседании Коллегии ответственных работников Театрального отдела, воззвание Блока было «размножено, и 400 экземпляров его <...> разосланы в провинцию через «Росту» (Госархив РФ, ф.2306, оп.24, д.22, лл.14-16. В дальнейшем все ссылки на этот же фонд и ту же опись архива даются в тексте с указанием нумерации дел и листов). 1 января 1919 года текст «Воззвания» был впервые опубликован в газете «Северная коммуна» под названием «Библиотека драматических произведений всех времен и народов». В «Воззвании» поэт обращался с просьбой принять участие в подготовке к изданию классической и современной драматургии не только к писателям, ученым и культурно-просветительным организациям, но и к русской молодежи, «работающей в области театра и слова или только любящей театр и слово» (Александр Блок. Собр.соч. в 8-ми томах, т.VI, М.-Л., 1962, с.295). Репертуарная секция выражала надежду на то, что широкие слои населения поддержат ее деятельность советами и пожеланиями, касающимися репертуара народных театров. «Не стоит говорить о том, что культурный голод русской провинции превышает в настоящее время хлебный голод... — подчеркивал Блок, — что то, что мы здесь облекаем в форму просьбы к нашим товарищам, звучит как требование из самых далеких и глухих мест нашей Родины» (там же).

В Госархиве РФ находятся на хранении (ф.2306, оп.24) заверенные печатями ТЕО протоколы заседаний петроградской Репертуарной секции, которые в одних случаях дословно фиксируют живую речь Александра Блока, в других — только передают ее содержание. Документы, предлагаемые в этой публикации, либо еще не печатались, либо малоизвестны в научном обороте.

Среди протоколов заседаний бюро Репертуарной секции находится протокол заседания от 5 ноября 1918 года (15, 158-167), на котором обсуждался предложенный председателем секции



Александр Блок. 1918

Блоком «Проект воззвания Репертуарного отдела». На заседании присутствовали Блок, критик Вл. Гиппиус, историк искусства и переводчик П. Гнедич, филолог-классик Ф. Зелинский, литературный критик Р. Иванов-Разумник, литературовед Н. Котляревский, В. Мейерхольд, писатель А. Ремизов и секретарь секции А. Ларош. Показательна ранее не публиковавшаяся полемика Блока с Котляревским. Исследователь классической литературы проводил мысль о том, что Репертуарная секция прежде всего должна указать серию пьес, пригодных для постановки и массового чтения; поэт утверждал необходимость создания библиотеки мировой

драматургии для масс при творческом участии представителей масс:

«Котляревский. <...> Зачем обращаться к широкой публике? Нужного человека всегда можно привлечь. <...>

Блок признает, что учреждения не откликнутся вовсе, частные же лица пришлют хлам, но в этом хламе стоит порыться.

Воззвание как бы говорит народу: «Пошли посла, который извлечет из нас то, что тебе нужно».

<...> Нужно найти способ сообщаться. Воззвание ждет ответа от: 1. Театров, 2. Культурно-просветительских учреждений и 3. Молодежи (напр<имер>, рабочих, попавших ныне в университет).

Котляревский считает задачей «Репертуара» предложить серию пьес. Должно указывать, а за помощью обращаться нечего.

Блок. Пьесы прочтет сельская интеллигенция, а для народа это опять останется чуждым. Нужно, по выражению Иванова-Разумника, «закинуть сеть».

Котляревский <...> Воззвание придает возвышенную



окраску, много подъема по маленькому делу.

Б л о к . Всякое дело теперь должно стать большим, п<отому> ч<то>велика эпоха.

<...> Теперь люди берутся за большие дела. Так, например, Педагогическая секция. Те<атральный> о<тдел> устраивает Вольную философскую академию.

К о т л я р е в с к и й предлагает издать лирическую часть за подписью Блока, а практическую от Коллегии. <...> Котляревский против слов «слоев» и «товарищи».

Б л о к настаивает на том и на другом.

И в а н о в - Р а з у м н и к говорит, что в споре проявилось деление на старый и новый мир» (15, 158-167).

До октября 1918 года заседания Репертуарной секции, как свидетельствуют архивные материалы, проходили в основном совместно с Историко-театральной секцией под председательством историка литературы и театра П.Морозова. В первые месяцы существования Репертуарная секция ставила и в большей или в меньшей степени успешно решала вопросы организации текущего репертуара государственных, коммунальных и народных театров, установления связи с театрами; обсуждались вновь созданные пьесы современных авторов. Протоколы заседаний секции этого периода отражают, в частности, стремление Блока найти живой контакт с петроградскими коммунальными театрами. В протоколе заседания от 6 июня 1918 года, на котором Блок огласил свой известный доклад «Несколько мыслей о репертуаре коммунальных и государственных театров», отмечалось: «А.А.Блок предлагает совещание с руководителями художественной частью коммунальных театров» (6, 21, 22). 22 июня 1918 года Блок предложил «просить Театральный отдел сообщать сведения о том, какие и где в коммунальных театрах необходимо произвести экспертизы и консультации (15, 51-54). На заседании 29 июня того же года «Блоку предложено ознакомиться со спектаклем одного из коммунальных театров <...>. Отмечается, что у Блока уже имеет отзыв о посещении коммунальных театров» (15, 57-58).

Повышенный интерес поэта к театральному искусству в послереволюционные годы был закономерен. Блок считал театр горячей точкой взаимодействия искусства и жизни: «...Здесь они встречаются лицом к лицу, здесь происходит вечный смотр искус-



ству и смотр жизни... сочувственный и сильный зритель, находящийся на этой боевой линии, закаляется в испытании огнем» (Александр Блок. Собр.соч. в 8-ми томах, т.VI, с.273).

В «Положении о Репертуарной секции при Театральном отделе Народного комиссариата по просвещению», обсужденном на заседании 24 мая 1918 года (6, 2-4) и утвержденном А.В.Луначарским 10 июня 1918 года (96, 25, 25об.), в качестве одной из главных задач секции ставилось издание текущего периодического органа и отдельных драматических произведений. Еще на заседании бюро Историко-театральной и Репертуарной секций от 28 мая 1918 года стоял вопрос об издании ежедневного или еженедельного органа при Театральном отделе (эта идея впоследствии не была осуществлена). В частности, Блок предложил печатать в этом органе небольшие пьесы, «могущие представить легкое чтение и заменить фельетон» (15, 29, 29об.), что было принято к сведению. На заседании 9 августа 1918 года Александр Блок выступил с докладом о предполагаемом содержании первого номера сборника «Репертуар». Основные мысли доклада Блока нашли отражение в хранящемся в архиве протоколе: «Часть сборника будет отведена для напечатания материалов информационно-официального характера: положение, выдержки из протоколов и т.д. Желательно напечатание в сборнике статьи А.В.Луначарского, разъясняющей, почему театр и искусство в настоящее время находятся в ведении Народного Комиссариата по просвещению. Затем специальная статья об органе «Репертуар». В «Репертуаре» будут печататься как пьесы оригинальные (в самом сборнике), так и переводные (в качестве приложений, поступающих также в продажу и в розницу). В распоряжении редакции имеются оригинальные пьесы <...> (15, 77, 78об.). Заседание одобрило проект Блока, однако его выступление было отделено немалым сроком от появления в свет в конце 1918 года сборника «Репертуар», а потому не нашло свое воплощение.

4 октября 1918 года заседание бюро Историко-театральной и Репертуарной секций обратилось к поэту с просьбой «взять на себя председательство и идейное руководство делами <Репертуарной> секции» (15, 118 и 118об.).

В бытность Блока на этом посту одним из центральных вопросов был вопрос об издательской деятельности Репертуарной секции. На первом самостоятельном заседании ее, возглавляемом



Блоком, 11 октября 1918 года председатель секции говорил о возможности и насущной необходимости работы в архиве бывшей драматической цензуры, где можно было обнаружить ценные произведения, не допущенные на сцену царской цензурой, но пригодные для издания и постановки после Октября.

«Председатель секции А.А.Блок предлагает обсудить вопрос об организации работ в архиве бывшей драматической цензуры, где имеется более 50 300 цензурных пьес: быть может, среди этой массы нам удастся отыскать ценный материал. Наши задачи при изучении архива будут далеки от библиографии. Мы не будем заниматься картотекой — мы будем выискивать там все то, что заслуживает внимания, что еще может жить в театре и может быть использовано сейчас же в наших работах по репертуару. <...> При рассмотрении пьес можно руководиться эпохой — написана пьеса, скажем, до или после карамзинской реформы; разбить пьесы на переводные и оригинальные, обратить внимание на репертуар классовый, на пьесы, трактующие социальные вопросы.

<...> Нам необходимо быть ближе к запросам широких народных масс» (15, 136а, 136б об.). Судя по всему, в приведенном выше документе живая речь Блока передана непосредственно, хотя и не без сокращений.

Из высказываний председателя Репертуарной секции на заседании от 16 октября 1918 следует, что в ее планы входило издание большого количества пьес по сериям (античный театр, европейское средневековье, русский классический театр и другие) с комментариями и примечаниями (см.: Е.Г.Молдованова. Александр Блок и репертуарная секция Наркомпроса. «Советские архивы», 1968, ^о 6, с.104-105). Кроме того, на том же заседании Блок заметил: «<...> Я нахожу интересным создание в сборнике «Репертуар» отдела театральной хрестоматии и уже заказал Княжнину приготовить в размере одного печатного листа «Мысли о театре Аполлона Григорьева» (15, 137-140). В сборнике «Репертуар», вышедшем в свет в канун 1919 года, действительно была напечатана исследовательская статья литературоведа В.Н.Княжнина о театре Аполлона Григорьева — поэта и драматурга, к которому Блок относился с особой любовью.

В конце ноября 1918 года выяснилось, что Репертуарная секция Театрального отдела Москвы также приступила к изданию



библиотеки мировой драматургии. Стремясь избежать параллелизма и замедления в работе, Блок и Иванов-Разумник, возглавивший тогда редактирование библиотеки «Репертуар», предприняли попытки переговоров с московским ТЕО и московской Репертуарной секцией по вопросу о разумном разделении сфер изданий пьес между Петроградом и Москвой. В связи с этим Блок направил 28 ноября 1918 года деловое письмо заведующей ТЕО Наркомпроса О.Д.Каменевой, а за три дня до того Иванов-Разумник обратился к Блоку с письмом: «Редактирование библиотеки «Репертуар» я взял на себя в конце ноября. Положение дел к этому времени (а значит, и в настоящее время) такое:

Сданы в набор, почти закончены набором, но еще не отпечатаны <...> пьесы иностранных и русских авторов. <...>

Должна начаться новая работа, которая может быть производительной лишь при соблюдении целого ряда условий, к которым и перехожу.

Первое и главное условие — твердо разработанный план работы. Необходимо выяснить, окончательно ли произведено деление литературного материала между Театральными отделами Петербурга и Москвы.

<...> Было бы естественно, чтобы «театр» А.Блока, Ф.Сологуба, А.Ремизова и др. <...> был бы в сфере петербургского издательства и редактирования, а театры В.Брюсова, К.Бальмонта, В.Иванова и др.<угих> москвичей — в сфере московского.

<...> Другим, не менее главным условием является приведение на надлежащую высоту технической части издания библиотеки «Репертуар».

Такое издание может иметь значение только при быстром и постоянном выходе в свет одной книжки за другой» (15, 191-195). Материалы свидетельствуют о том, что 6 декабря 1918 года на заседании бюро московской Репертуарной секции были оглашены записки Блока и Иванова-Разумника, в которых высказывалось мнение о целесообразности разделения сфер влияния в издательской деятельности секций. Судя по всему, петроградцы отстаивали разработку романского театра и драматургии современных писателей, живущих в Петрограде. На московском заседании против предложений Блока и Иванова-Разумника высказались Вячеслав Иванов и Константин Бальмонт (4, 58). Отсутствие должного кон-



такта с ТЕО и с московской Репертуарной секцией и достаточных средств (прежде всего бумаги) значительно сказывалось на эффективности издательской деятельности. Блок считал издание библиотеки «Репертуар» делом, не терпящим ни малейшего отлагательства, а подготовка примечаний к пьесам требовала длительной и кропотливой работы, что вызывало беспокойство у председателя секции. Блок считал время 1918 года символическим. «...Каждый месяц, если не каждый день этого года — равен году или десятку лет» («Блоковский сборник», Тарту, 1964, с.531), — записал Блок в альбоме автографов С.М.Алянскому в марте 1919 года. Шли «годы и десятки лет», а издание пьес так и не было поставлено на необходимый уровень. На заседании инициативной группы по образованию при Театральном отделе Коллегии ответственных работников 21 ноября 1918 года Мейерхольд довел до сведения собравшихся о заявлении Блока о сложении им с себя обязанностей председателя Репертуарной секции и сообщил, что не нашел возможным принять отставку от Блока (22, 3).

Оставшись на руководящем посту, в декабре 1918 года поэт продолжал искать пути решения вопроса об издании библиотеки мирового репертуара. В частности, в протоколе заседания Режиссерской коллегии ТЕО Наркомпроса от 2 декабря 1918 года зафиксировано:

«А.А.Блок докладывает о решении Репертуарной секции издавать пьесы с режиссерскими примечаниями, а также параллельно с этим популярные театральные руководства» (15, 188-189). В тот же день на заседании бюро Репертуарной секции ТЕО Блок предложил сотрудникам, рецензирующим пьесы для издания, «писать краткий отзыв о пьесе на карточке. Карточки могут в дальнейшем послужить материалом интересным, историческим» (15, 190-198).

23 декабря 1918 года Блок выступил на заседании бюро Репертуарной секции с докладом об издательской деятельности секции:

«Дело издания пьес Репертуарной секцией все еще проходит подготовительную стадию. Естественно, что дело, требующее ученого аппарата, многих собраний и совещаний, мобилизации сотрудников разных профессий, движется не так быстро, как бы хотелось. Однако жизнь предъявляет свои требования.



Е ж е д н е в н о в издательское бюро приходит несколько то-
варищей из провинции. Они требуют пьес и уходят ни с чем.

Одновременно у О.Д.Каменевой, у В.Э.Мейерхольда, в среде из-
дательского бюро и у меня возникло беспокойство по этому пово-
ду. Мы решаемся принять экстренные меры и вернуться на тот
путь, с которого секция временно сошла и который следует при-
знать правильным. Параллельно с ученой работой по подготовке
образцового издания пьес со в с е м и необходимыми примечани-
ями мы выпустим ряд пьес или вовсе без примечаний, или с крат-
кими очерками. Это должно утолить голод хоть на первое время.

Прошу собрание высказаться по поводу списка книжек пьес,
составленного мною (список прилагается). Эти пьесы мы можем
сдать в набор частью сейчас же, частью — в ближайшее время.

Текст такой пьесы, которую секция признает возможной, не-
медленно приобретает (покупается или переписывается с
л у ч ш е г о текста) и сдается в типографию. Пока она печатает-
ся, кто-либо из нас по мере возможности берет на себя составле-
ние хотя бы краткого очерка в виде послесловия. В издательском
бюро ответственный корректор без замедления правит корректу-
ру, как только она пришла из типографии. Пьесы подписывают-
ся из печати одним из ч л е н о в бюро или з а м е с т и т е л е м
з а в е д у ю щ е г о театральным отделом.

Пьесы печатаются в том количестве экземпляров, какое воз-
можно в зависимости от количества бумаги (О.Д.Каменева реко-
мендовала обратить всю бумажную наличность преимущественно
на пьесы).

На задней стороне обложки каждой спешно выпущенной
пьесы печатается следующее:

«Театральный отдел prepares к печати ряд пьес с приме-
чаниями и пояснениями как общего, так и специального характе-
ра. Эта работа требует времени, а жизнь не ждет. Поэтому Теат-
ральный отдел издает первую серию пьес без таких примечаний
или с малым количеством их для удовлетворения первых требо-
ваний, поступающих со всех концов России.

Председатель Репертуарной секции А.Блок» (15, 222).

В протокол того же заседания от 23 декабря 1918 года вне-
сен список пьес 28 авторов, предложенных Блоком для скорей-
шего издания. В список поэт включил некоторых современных



писателей, например, Ф.Сологуба и А.Ремизова, и в первую очередь представителей зарубежной и русской классики: Шекспира, Доде, Пушкина, Грибоедова, Лажечникова, Тургенева, Островского, Л.Толстого. «Обращение к классике отнюдь не означало «бегства в прошлое». Наоборот, оно диктовалось живым чувством современности, желанием Блока помочь народу освоить культурные сокровища человечества, поставить прошлое на службу настоящему и будущему» (Ю.К.Герасимов. Александр Блок и советский театр первых лет революции. В кн.: «Блоковский сборник», с.327).

На следующем заседании бюро Репертуарной секции 26 декабря 1918 года Блок выступил с «Обращением заведующего секцией к членам бюро»:

«Покорнейше прошу Вас не отказать сообщить в письменной форме в ближайшее время список пьес, которые Вы нашли бы возможным напечатать спешно, не снабжая эти пьесы никакими особыми примечаниями.

Прошу Вас при этом не стесняться рамками каких бы то ни было наших списков, а принять во внимание только следующее:

1 чтобы пьесу было легко поставить (поменьше декораций и действующих лиц, попроще сюжет и язык и т.д.),

2 чтобы текст этой пьесы был более или менее бесспорен (единственный печатный и рукописный текст, удовлетворительный перевод, отсутствие опечаток и т. д.). Не откажите отметить при этом, какой именно текст надо приобрести или переписать, следует ли его проверить, нет ли готовой краткой (или могущей быть сокращенной) статьи, которая послужила бы предисловием или послесловием к данной пьесе, нельзя ли срочно заказать статью и кому именно; по возможности желательны указания о числе действующих лиц и декораций.

Обсудив Ваш список в одном из заседаний бюро, мы немедленно постараемся добыть соответствующие тексты, после чего будем просить Вас привести рекомендованные Вами пьесы в надлежащий вид для сдачи в печать, т.е. снабдить подписями для обложки и титульного листа, исправить опечатки (все это может быть поручено кому-либо из Ваших сотрудников под Вашей редакцией) — словом, дать в типографию и в руки корректору такой экземпляр, который должен быть воспроизведен точно (не считая перевода



на новую орфографию, который производится автоматически).

Не откажите, кроме того, сообщить Ваше мнение о том, желательно ли такие несовершенные издания делить на серии, нумеровать и т.д., как мы предполагали делать со всей библиотекой «Репертуар», и не находите ли Вы нужным дать другое название библиотеке.

Позволю себе прибавить, что очень желательно, чтобы среди пьес было названо некоторое количество произведений, принадлежащих к классовой литературе и, разумеется, удовлетворяющих хотя бы минимуму литературных и театральных требований.

24 декабря 1918 г.

Председатель Репертуарной секции» (15, 232).

Несмотря на усилия Блока, издание пьес так и не было налажено. В отчете о деятельности Репертуарной секции от 27 января 1919 года отмечалось, что редакционной группой секции во главе с Котляревским (русский классический театр), Ивановым-Разумником (современный русский театр) и Ф.Зелинским (зарубежный театр) сдано в набор 80 пьес (541, 4, 5), тогда как за весь период деятельности Блока на посту председателя секции увидело свет только около 40 книг (см.: М.А. Бекетова. Александр Блок, Л., 1930, с.264). 3 марта 1919 года Блок объявил, что петроградский Театральный отдел наконец удовлетворил его просьбу об отставке от должности председателя (см.: Ю.К.Герасимов. Александр Блок и советский театр первых лет революции. В кн.: «Блоковский сборник», с.340). В период руководства Блоком Репертуарной секцией при его активном участии в канун 1919 года был издан первый сборник «Репертуар», опубликованы списки пьес для народных, деревенских, солдатских театров, подготовлены списки пьес для государственных и коммунальных театров, положено начало изданию библиотеки мирового репертуара.

28 октября 1919 года Блок писал переводчице В.Е.Аренс: «Каждый почти день — большой труд, кончающийся победой или поражением, чего прежде не бывало, и личное ушло и все еще не знает, где, среди каких развалин, ему вновь начинать расти, и начинать ли» (Александр Блок. Собр.соч. в 8-ми томах, т.VIII, с.528).



НЕПРИКАЯННЫЙ СТРАННИК

О Белом

Его не стало почти через тринадцать лет после Александра Блока. Когда-то на рубеже веков Блок и Белый вдохновляли друг друга на страдные пути в литературе и жизни. Письмами. Вся их переписка — это сокровенная история напряженнейшей дружбы-вражды. Это — и горный источник, из которого произрастал русский символизм.

Перед смертью Белый просил, чтобы ему прочитали давние его стихи:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных
стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить
не сумел.

Он, в юности отождествивший себя с аргонавтами — искателями золотого руна, умер после солнечного удара.

Соприкасаясь с биографиями Александра Блока или Владислава Ходасевича, невольно оказываешься под обаянием их судеб. Обаяние здесь равно притяжению. Из года в год ловишь себя на мысли, что их бессмертные пути проецируются теперь как бы и на твое брэнное существование.

С Андреем Белым совсем по-другому. Тоже обаяние судьбы, но какое-то отталкивающее. Словно приблизились магниты с однородным полем. Белого мне было труднее узнать, чем его спутников. Впрочем, по правде сказать: ожидаемого проникновения в случае с ним так и не произошло.

Углубляясь в историю его души, вдруг понимаешь, что весь он, поэт и человек, — будто обнаженный нерв. К тому же нерв наэлектризованный.

Блок еще в молодые годы четко определил для себя идею пути художника. И вся жизнь его без остатка была воплощением этой идеи, очень космической и трагически земной.



Андрей Белый. 1922 (?)

Мне кажется, у Белого не было пути именно в том, блоковском понимании. Его судьба — это вечная неприкаянность, смятенные искания, какая-то духовная бездомность... Он был охвачен всем этим. Не зря сказала о нем Цветаева: «Пленный дух».

Он быстро сходил с современниками и быстро от них отталкивался. Его любовь часто граничила с ненавистью. Но все чувства, все порывы Белого были искрен-

ни, потому что они исходили от художника волею Божьей. Он был искренне непостоянен даже с Блоком. Было изменчиво его мироощущение. И итогом его неприкаянности в дореволюционные годы стало участие в строительстве антропософского храма Гетеанум в Дорнахе (Швейцария).

Послеоктябрьские испытания были для его обостренного, как сам он определял, самосознания, вероятно, еще тяжелее, чем для других. Ибо время пыталось отторгнуть Мастера от систематического литературного труда, заставляя думать о хлебе насущном. На-



верно, свободный творческий труд являлся для Белого едва ли не единственным стержнем, охраняющим от саморазрушения. Белый пишет, что состояние его сознания в России 1919 года сродни «физическому ощущению отмороженных пальцев». Для пространства его духа оказывается мал и бюргерский Берлин, где у поэта опускались руки. Последние десять лет в советской России стали поистине трагическими попытками создания трилогии воспоминаний, обращенных к ушедшему ренессансу русской культуры, но призванных волею автора преодолеть беспощадную цензуру. Одни его друзья покинули Россию, другие уходили из жизни.

Нина Берберова вспоминала об отношении к Андрею Белому Владислава Ходасевича: «...Ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, и сильнее смерти любовь... Это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу».

Не унесли ли современники, близкие к Андрею Белому, полностью знания о Тайне неприкаянного странника?

Газета «Первое сентября», 31 мая 1994, с.3

«МЕЛКИЙ БЕС»

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

О бессмертном романе Федора Сологуба

Успех «Мелкого беса» после его появления был громаден. Вслед за его опубликованием отдельной книгой издательством «Шиповник» в 1907 году, это издательство в 1908-1910 годах выпустило роман Сологуба еще пять раз общим тиражом более 15 тысяч экземпляров, весьма внушительным для того времени. Самую значительную и последнюю стилистическую правку писатель внес в шестой том своего Собрания сочинений (СПб, «Сирин», 1913). При жизни Сологуба «Мелкий бес» переводили на английский, немецкий, датский, шведский, итальянский, чешский, словацкий, венгерский, польский языки.

Роман, писавшийся с 1892 по 1902 годы, занимает опреде-



ленное место на магистральном пути русской литературы. Он как бы подводит черту классической словесности и приоткрывает движение прозы XX века.

«Мелкий бес» продолжает, в частности, традицию «Пиковой дамы» А.С.Пушкина, в которой впервые возникает герой, отягощенный одной «точечной идеей», всеохватывающей и разрушительной. Графиня пушкинского Германна — своего рода прототип княгини Волчанской Передонова. Одержимость приводит и Германна, и Передонова к тому, что в их помутненном сознании оживают карточные фигуры.

Еще один предшественник Передонова — майор Ковалев из гоголевского «Носа», драма которого в том, что он, именно будучи коллежским асессором, оказался без части лица. Поиск носа в своем роде сходен с угрюмыми и напряженными стремлениями Передонова стать инспектором. Посещения героем «Мелкого беса» «отцов города», можно сказать, пародируют визиты Чичикова в «Мертвых душах». Если Чичиковым движут мотивы, которые в действительности могут привести его к обогащению, то Передонов хочет визитами обезопасить себя от доносов, существующих исключительно в его сумасшедшем воображении. «Мертвые души» — во многом статичная страна мертвых. «Мелкий бес» же — город безумия, подчас сопоставимого с бруновским движением.

Оборотничество, которое повсюду мерещится Передонову, напоминает «Вечера на хуторе близ Диканьки». Видения Передонова, в том числе страх быть подмененным Володиным, сродни кошмарным видениям господина Голядкина из «Двойника» Ф.М.Достоевского.

Серая Недотыкомка определенным образом пародирует черта, являющегося к Ивану в романе «Братья Карамазовы», и ассоциируется с чудовищным насекомым — персонажем сновидения



Федор Сологуб. 1920-е годы



Ипполита (роман «Идиот»). Не случайна, вероятно, и близость названия произведения Сологуба с «Бесами» Достоевского так же, как и упоминание в «Мелком бесе» рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре». Чеховского Беликова роднит с Передоновым «благоданность» и верноподданничество, сосредоточенность натуры на абсурдных мелочах, страх перед окружающими и нагнетание страха окружающим. Заикленность на мелочах и страх смертельный — составляющие и другого персонажа А.П.Чехова — Червякова (рассказ «Смерть чиновника»). Но Передонов, в отличие от Беликова или Червякова, жестокий наслажденец, и его садистическое безумие, наверно, ведет начало и от Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым.

Одна из ситуаций «Мелкого беса» в какой-то мере связана с рассказом Чехова «Злой мальчик».

Сюжетная линия отношений Саши и Людмилы обусловлена бытовавшей в начале XX века идеей очищения мира расцветающей Плотью. Взыскуемая гармония Плоты и Духа должна привести к грядущему новому Третьему завету, синтезирующему Ветхий и Новый заветы. Эта мысль нашла свое яркое воплощение в труде Д.С.Мережковского «Не мир, но меч». Кроме того, мысль о «расцветающей Плоты» была связана с культом Дионисийства и вакхических страстей, возрождаемым Вяч.Ивановым.

Появившись в печати, «Мелкий бес» начал оказывать влияние на дальнейшее развитие отечественной литературы. В 1909 году А.М.Ремизов пишет повесть «Неумный бубен», в которой главный герой Стратилатов со своей неугомонной бесноватостью, растворенностью в унылом и абсурдном провинциальном быте несет в себе заряд саморазрушения.

Тараканы — сквозной знак бесовского кошмара — в рассказе А.М.Ремизова «Чертик» (1906). Тараканы в «Чертике» — символ последней черты безумия. В «Мелком бесе» «тараканий мотив» возникает накануне убийства Володина. «Тараканомор считал свое дело большим и важным. Словно бы в тараканьем шушанье мерещился ему сам Дьявол, а побороть Дьявола, стереть Дьявола с лица земли было главным и первым заветом тараканомора» («Чертик» А.М.Ремизова).

Хаос, распад причинно-следственных связей, абсурд окружающего, царящие в больной голове Передонова, в 1920-е годы «перекочуют» в прозу М.А.Булгакова и, прежде всего, в «Дьяволи-



аду». Наконец, мотив оборотничества, почти пунктиром заявленный в «Мелком бесе», станет одним из важнейших в романе «Мастер и Маргарита».

В современной русской литературе наиболее последовательным продолжателем этих традиций прозы Федора Сологуба, пожалуй, выступает Ю.В.Мамлеев.

Угрюмый обывательский мир, существующий по принципу «жить, чтобы есть», в многокрасочной полноте займет главное место в прозе М.М.Зощенко.

А герой романа «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова Ипполит Матвеевич Воробьянинов схож с Ардальоном Борисовичем Передоновым не только меркантильными «саморасчлняющими» страстями, но и тем, что эти зловещие страсти приводят обоих к убийству посредством перерезания горла.

*1995, осень,
фрагмент комментариев к тому I
неизданного двухтомника Ф.Сологуба*

ЖУРНАЛ «ВЕСЫ»

«История «Весов» может быть признана историей русского символизма в его главном русле» («Аполлон», 1910, ^о 9, отд.1, с.44), — писал Николай Гумилев. Шесть лет подряд — с 1904 по 1909 — выходил в Москве ежемесячник, идейным вдохновителем которого до конца 1908 года был Валерий Брюсов. «Брюсовский» журнал получил название по имени зодиакального знака, ближайшего к созвездию Скорпиона, которым ранее было наречено символистское книгоиздательство. И «Скорпион» (1899-1916), и «Весы» финансировал математик и переводчик Сергей Александрович Поляков. В издательской практике начала нынешнего века меценатство — явление довольно распространенное: «Золотое руно» финансировал Н.П.Рябушинский, издательство «Гриф» — С.А.Соколов...

Русский символизм, в середине 1890-х годов делавший первые робкие шаги, в 1902-1903 годах превратился из маленького ручейка в полноводную реку. Новое течение уже не было в чита-



Обложка «Весов» работы Н.Феофилактова

тельском сознании связано с именами только В.Брюсова, окружавших его молодых литераторов и К.Бальмонта. Заявили о себе Вяч.Иванов, А.Белый, А.Блок. Но Брюсов по-прежнему претендовал определять сегодняшний и завтрашний день словесности, и новый журнал «Весы» первоначально был призван сплотить писателей вокруг родоначальника русского символизма.

Уже после выхода первого номера нового издания современники ощутили продуманность его замысла и воплощения.

«Что касается «Весов», то мне бесконечно нравится отчетливый характер журнала, резкий, боевой, — писал 7 февраля 1904 года Брюсову поэт С.Рафалович. — Чувствуется крепкая основа в смысле подготовленности редакции; ясное сознание цели и направления и цельность» (ГРБ, ф.386, карт.100, ед.хр.8). В первые пять лет существования «Весов» Брюсов осуществлял, можно сказать, абсолютное руководство всей их деятельностью: он не только писал программные статьи, отбирал публикации, формировал состав номеров, но даже регулярно вникал в частности и нюансы повседневного редактирования.



В 1904-1905 годах журнал старался выдержать облик исключительно критико-библиографического ежемесячника. Однако тогда в заданные рамки с трудом вписывались эссеистские работы Вяч.Иванова, А.Белого, К.Бальмонта. В первые годы существования «Весов» Брюсов, в целом чуждавшийся религиозных откровений в творчестве, тем не менее привлекает в свое издание Вяч.Иванова, Блока, Белого, Сергея Соловьева — в то время верных мистическим чаяниям покойного Владимира Соловьева. Он заявляет в программной статье «Ключи тайн» («Весы», 1904, ^о 1) о своей приязни к их творчеству, растворяющему «человечеству двери из его «голубой тюрьмы» к вечной свободе».

«Весы», тем не менее, при видимом идейном плюрализме своего фактического руководителя были, во-первых, едва ли не первым периодическим изданием в России, полностью исключившим печатание художественных произведений чуждых литературных направлений, а во-вторых, как это ни парадоксально, изданием, подчас откровенно стремившимся к тому, чтобы авторы даже по частным вопросам высказывали мнения, созвучные брюсовскому. Например, секретарь «Весов» М.Ф.Ликиардопуло писал Б.А.Садовскому 13 мая 1906 года: «В.Я.Брюсов» просил передать Вам, чтобы Вы Щедрина не ругали, а книгу (т.е. Арсеньева) можете сколько угодно» (РГАЛИ, ф.464, оп.1, ед.хр.85). Примеры такого рода можно множить.

В январе 1906 года у «Весов» возник мощный конкурент в лице журнала «Золотое руно», главным идеологом которого стал Вячеслав Иванов — наиболее влиятельная после Брюсова фигура в «Весках» 1904-1905 годов. «Руно», ставшее в 1907 году откровенной оппозицией «Весов», с первых номеров печатало стихи и художественную прозу. С 1906 года и в журнале Брюсова появились все жанры художественной литературы: стихотворения, драмы, рассказы, повести, даже романы. Со временем в оглавление «Весов» стала вноситься специальная рубрика «Стихи, рассказы <или повести>, драмы, статьи». А в отдельных номерах было отведено место творческому наследию прошлого. Так, в первом выпуске журнала 1909 года под рубрикой «Материалы» печатались неизданное стихотворение Вл.Соловьева и письма В.Жуковского А.Пушкину.

В 1906-1908 годах «Весы» утверждают себя, в частности, пытаясь ниспровергнуть вновь возникающие явления внутри симво-



лизма. Во втором номере «Весов» за 1906 год Зинаида Гиппиус под псевдонимом «Товарищ Герман» критиковала первый номер «Золотого руна» — журнала, отличавшегося роскошным оформлением и ориентированного на готовые эстетические образцы нового искусства. Гиппиус называла первый номер «Руна» «наибогатейшей московской свадьбой», а его содержание обозначила «обветшавшим декадентствованием».

Самые тяжкие пороки, которые поэтесса усмотрела в новом издании, — бескультурие и безвкусица. С отповедью «Весам» на страницах «Золотого руна» выступил С.А.Соколов, указавший на внутреннюю причину выпادا «Весов»: «...Слишком уж недвусмысленно звучит в их словах нота оскорбленного монополизма» («Золотое руно», 1906, ^о 3). В пятом номере «Весов» за 1906 год Брюсов под псевдонимом «Товарищ Герман» иронизировал над напыщенным стилем ответа Соколова.

В марте 1907 года «Весы» вновь подвергли критике «Золотое руно» сразу в двух заметках Брюсова, обвинявшего конкурирующий журнал в редакционной небрежности, неосновательности и даже в плагиате. В ответ заведующий редакцией «Руна» Г.Э.Тастевен в заметке, написанной под псевдонимом «Эмпирик», утверждал, что «идейная физиономия «Весов» очень потускнела» и что этот журнал, «окопавшись в твердыне эстетического индивидуализма», становится консервативным.

Если «Весы» защищали «чистый», «классический», во многом не выходящий за эстетические пределы символизм, то «Золотое руно» объявляло о своих поисках «нового реализма». К тому же «Руно» противопоставляло брюсовскому «европеизму» «национальный элемент», к которому неизменно тяготел фактический руководитель журнала Вяч.Иванов.

В поле зрения критики «Весов» оказалось не только «Золотое руно». В пятом номере 1906 года Брюсов, например, со всей определенностью выступил против первого сборника «Факелы» (Пб., 1906), редактором которого был писатель-символист Георгий Чулков.

«Факелы», по замыслу Чулкова, поддержанному Вяч.Ивановым, должны были заложить основу для новой культурной и общественной организации, признанной преодолеть индивидуализм путем слияния религиозных символистских чаяний с общественным радикализмом и возникновения из недр символизма бизнес-



троительного направления — «мистического анархизма» (термин Чулкова). Брюсов упрекал «факельщиков» в стремлении выдать религиозно-общественные искания за новую «литературную школу»: «Если же школа начинается с теории, если она собирает своих членов по приглашению, как танцоров на бал, — это верный признак, что она не истинная, искусственно созданная... Впрочем, и программа «Факелов» не содержит в себе ничего, что могло бы действительно объединить новую группу писателей» («Весы», 1906, ^о 5). Между прочим, в следующем номере «Весов» нашлось место для заметки Вяч.Иванова «О «факельщиках» и других именов собирательных», возражавшей Брюсову.

Но главным противником «Весов», конечно, было не «инакомыслие» в символистском кругу, а группа писателей, объединенных в издательстве «Знание». «Весы» инкриминировали писателям «Знания» служение «догмату наивного реализма», «сведение задач литературы к иллюстрации социологических трактатов» (А.Белый. Символизм и современное русское искусство. «Весы», 1908, ^о 10).

В 1909 году, когда Брюсов отошел от руководства журналом (А.Белому, которого прочили тогда на ведущую роль, так и не суждено было вдохнуть в ежемесячник новую жизнь, и фактическое кураторство над «Весами» осуществлял секретарь редакции М.Ф.Ликиардопуло), в нем возобладала примирительная тенденция. В первом номере «Весов» 1909 года было помещено объявление:

«Редакция обращает внимание читателей, что она не считает возможным стеснять своих постоянных сотрудников в высказывании своих мнений, хотя бы они и не совпадали со взглядами редакции. Поэтому, по отдельным, частным вопросам и при оценке различных частных явлений, на страницах журнала возможно появление суждений, резко противоречивых. Разумеется, это не касается основных взглядов редакции, определяющих все направление журнала: в числе своих сотрудников редакция может считать только лиц, этим взглядам не враждебных».

Постепенно от «Весов» отдалялись активные участники издания — А.Белый, С.Соловьев, Л.Эллис. Но главной причиной закрытия журнала была, безусловно, организация осенью 1909 года в Петербурге нового журнала «Аполлон», полного свежих, молодых сил. О соперничестве с «Аполлоном», приобретшим известность в столичных литературно-художественных кругах еще до выхода своего первого номера, не могло быть и речи.



В своем предпоследнем номере «Весы» (№10-11, 1909) прощались с читателями поэтическим «парадом», в рамках которого были опубликованы произведения К.Бальмонта, Ю.Балтрушайтиса, А.Блока, В.Брюсова, А.Белого, М.Волошина, З.Гиппиус, В.Иванова, М.Кузмина, Д.Мережковского, С.Соловьева, Ф.Сологуба, признанных поэтов, большинство из которых печатали свои стихи и раньше на страницах этого журнала. Создателями художественной прозы, публиковавшейся в «Весах», были в первую очередь все те же маститые Брюсов, Белый, З.Гиппиус, Сологуб, Кузмин. Журнал успел напечатать два значительных романа русской литературы начала нынешнего столетия: «Огненный Ангел» Брюсова (1907, № 1-3, 5-12; 1908, № 2-8) и «Серебряный голубь» А.Белого (1909, № 3-4, 6-7, 10-12).

«Весы» так или иначе обратили внимание на творчество западных писателей-модернистов Э.Верхарна, Ш.Бодлера, С.Малларме, О.Уайльда, Ф.Кроммелинка, М.Метерлинка, А. де Ренье, М.Мелля, Я.Сёдерберга...

Корреспонденции из европейских стран были распределены в «Весах» между обозревателями: из Франции писали Рене Гиль, Реми де Гурмон и Жан де Гурмон, Рене Аркос; из Англии — Уильям Морфилл; из Италии — Джованни Папини, Джованни Амэндола; из Германии — Артур Лютер, Максимилиан Шик, Александр Элиасберг; из Дании — Оге Маделунг.

На протяжении всех лет существования журнала его оформлению уделялось особое значение. У каждого номера была своя индивидуальная обложка, в большинство выпусков помещались заставки, виньетки, репродукции (в ряде случаев цветные) картин известных русских и иностранных художников-модернистов. Из отечественных художников назовем Л.Бакста, К.Сомова, Н.Феофилактова, М.Сапунова, Д.Митрохина, М.Шестеркина, Е.Кругликову, С.Судейкина...

Определенность задач, цельность, гибкость журналистской политики, единство содержания и оформления, неизменно высокий уровень поэзии, прозы, литературной и художественной критики дает основание считать, что «Весы» — один из первых печатных органов в России, явивших пример глубокого издательского профессионализма.



О ВЛАДИСЛАВЕ ХОДАСЕВИЧЕ И ЕГО МЕМУАРАХ



Владислав Ходасевич.
Силуэт Е.Кругликовой. 1916

«Утверждали, что у него был «тяжелый характер». Больше того: называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен и жалостлив, едва ли не свыше меры. Тяжелого точно в нем не было; характер его был не тяжел, а труден, труден для него самого, еще больше, чем для других. Трудность эта происходила, с одной стороны, из того, что был он редко правдив и честен, да еще наделен, сверх своего дара, проницательным, трезвым, не склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны, из того, что лите-

ратуру принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную... Чувствителен он был и к нападкам на себя, но преимущественно к таким, в которых распознавал мотивы низменные, литераторские, но внелитературные. Почуя их, он терял чувство меры, он становился сам несправедлив. Терпимым в этих делах он действительно не был, боясь больше всего, как бы родной его дом, единственный, который у него остался, дом русской литературы, не превратился в дом терпимости» (В.Вейдле. О поэтах и поэзии. Париж, 1973, с.47-49).

Так в 1962 году вспоминал о Владиславе Ходасевиче один из его немногих мемуаристов, критик русского зарубежья Владимир Васильевич Вейдле (1895-1979), общавшийся с поэтом во второй половине двадцатых и в тридцатые годы и, между прочим, рецензировавший в 1939 году в парижском журнале «Современные записки» его книгу прозы «Некрополь» («Современные записки», Париж, 1939, кн.69, с.393-394).



Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве 29 мая 1886 года. Семья была многодетной, будущий поэт был шестым ребенком. Отец его Фелициан Иванович — фотограф, сын польского эмигранта, участника восстания 1833 года. Мать — София Яковлевна (урожденная Брафман) — по происхождению еврейка, по вероисповеданию католичка.

Нина Николаевна Берберова, делившая с Ходасевичем жизнь на чужбине с 1922 по 1932 год, после его смерти писала:

«Человек не русской крови, верующий католик, он был величайшим и многозначительнейшим подтверждением идеи о России, как самостоятельном и целостном мире, где еврей, поляк, армянин, калмык с удивительной и необъяснимой силой делаются сынами одной грозной, обожаемой и одновременно презираемой матери.

России пасынок, а Польше —

Не знаю сам, кто Польше я.

Но: восемь томиков, не больше, —

И в них вся родина моя»

(«Современные записки», Париж, 1939, кн.69, с.257).

В 1896 году Ходасевич поступил в московскую третью классическую гимназию, которую окончил спустя восемь лет. Среди его гимназических друзей — младший брат В.Я.Брюсова Александр и будущий поэт-символист Виктор Гофман, памяти которого в 1917 году посвящен едва ли не первый мемуарный очерк Ходасевича. Воспоминания Вл.Ходасевича о В.Гофмане напечатаны в качестве предисловия к первому тому его посмертного Собрания сочинений (М., 1917). С 1904 по 1910 год будущий поэт учился сначала на юридическом, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета, в стенах которого познакомился с Андреем Белым. Высшего образования Ходасевич так и не получил: помешало хроническое безденежье. В документе с печатью Московского Императорского университета от 16 августа 1912 года обозначено: «...как не внесший части платы (в пользу преподавателей) в осеннем полугодии 1910 года Ходасевич из Московского университета был уволен» («Наше наследие», 1988, ^о 3, с.79).

1905 год стал заметным и в творческой, и в личной биографиях. В марте в московском «Альманхе книгоиздательства



«Гриф» состоялась первая публикация его стихов. В начале 1905 года Ходасевич прочитал владельцу «Грифа» Сергею Александровичу Соколову три своих стихотворения: «Зимние сумерки», «Осенние сумерки» и «Схватил я дымный факел мой...».

«К удивлению моему (и к великой, конечно, гордости), — много позже писал Ходасевич, — он сам предложил их напечатать. Я навсегда остался благодарен С.А.Соколову, но думаю, что в ту минуту он слишком был снисходителен: стихи до того плохи, что и по сию пору мне неприятно о них вспоминать, хотя я писал их 18-и лет» («Новая газета», Париж, ^о 1, 1 марта 1931).

В 1905 году были напечатаны и первые рецензии. А 17 апреля того же года Ходасевич вступил в брак с восемнадцатилетней Мариной Рындиной, отличавшейся экзальтированным нравом. Ходасевич не прожил с первой женой и трех лет: 30 декабря 1907 года она ушла к Сергею Константиновичу Маковскому — будущему редактору журнала «Аполлон».

В те годы поэт печатал стихи и рецензии в московских журналах «Весь», «Золотое руно», «Перевал», газетах «Руть», «Голос Москвы», «Русские ведомости», «Утро России»... Устанавливаются контакты с литераторами Б.К.Зайцевым, П.П.Муратовым, С.В.Киссиным (Муни).

В 1908 году в том же «Гриф» вышла первая книга стихов Ходасевича «Молодость», как в поэтическом строе, так и в тональности которой ощутимо воздействие эстетики и мироощущения младших символистов:

Томлений темных письма
Ты иссекла на камне черном.
В моем гробу, как ночь упорном,
И ты была заключена.

(«Утро»)

Тем не менее, уже в первом сборнике Ходасевича, вышедшем с посвящением «Марине», биографичность и неподдельная конкретность переживаний преобладают над общим и отвлеченным. Об этом писал Валерий Брюсов, откликнувшийся на появление «Молодости»: «У Ходасевича есть то, чего недостает и Гумилеву и Потемкину: острота переживаний. <...> Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего



уровня. <...> Исповедь г.Ходасевича оставляет впечатление, хотя в ней мало громких слов и патетических восклицаний...» («Весы», 1908, № 3, с.79-80).

Спустя некоторое время после выхода первой книжки Ходасевич попробовал себя в качестве переводчика польских и французских поэтов, занимался историко-литературным редактированием (издание сочинений И.Ф.Богдановича, А.С.Пушкина, составление антологий для московского издательства «Польза»). Подготовленная им позднее — в 1914 году — небольшая антология «Русская лирика. Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней» (М., 1914) дает достаточно ясное представление о поэтических пристрастиях и вкусах составителя. В предисловии к этой книге Ходасевич замечал: «Мы старались выбрать лучшие произведения каждого данного автора, независимо от того, являются ли они в его творчестве типическими или случайными, вполне самостоятельными или отражающими чужое влияние».

1911 год в жизни Ходасевича был особым: смерть родителей, знакомство с будущей женой Анной Ивановной Чулковой. (Вообще, надо сказать, в дореволюционной биографии поэта наиболее заметные события волею судьбы происходили каждые три года: в 1905 году — первая публикация стихов и первый брак; в 1908 — появление сборника «Молодость», а спустя шесть лет — в 1914 году вышел второй сборник стихов «Счастливый домик»). Н.Н.Берберова со слов Ходасевича писала о кончине его родителей: «Они умерли в один год (1911-й): мать была убита извозчичьей лошадью, понесшей пролетку и опрокинувшей ее. Отец умер с горя по матери спустя месяц. Ходасевич рассказывал, как в день смерти матери он долго ходил по Москве и ночью забрел в какую-то извозчичью чайную. Там полупьяные, распаренные чаем извозчики обсуждали дневное событие: как днем, на Тверской, лошадь убила старушонку...» («Современные записки», Париж, 1939, кн.69, с.27).

Среди рецензентов книги стихов «Счастливый домик» (1914) писатель Георгий Чулков, кстати, — брат второй жены Ходасевича, которой этот сборник был посвящен. Чулков увидел в книге именно то, что в дальнейшем станет отличительными чертами зрелого творчества поэта — строгость, ясность и классическую простоту: «Счастливый домик» Ходасевича — книга стихов, изыс-



канных и простых в то же время: простота этих стихов, как скупая форма, их строгие рифмы свидетельствуют о целомудренной мечте поэта, об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности: он презирает звонкие «погремушки рифм» и «потешные огни» метафор» («Современник», 1914, ^о 7, с.122-123). В «Счастли-вом домике» Ходасевич достаточно откровенно обращен к поэтическому строю пушкинской эпохи, его стихи первой половины 1910-х годов связаны с классической традицией, но еще не являются собой при этом независимого духовного мира Поэта, открытого дню сегодняшнему. Между прочим, само название второй книги Ходасевича, очевидно, навеяно стихотворением Пушкина «Домовому» (1819):

Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора,
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!

В 1910-е годы наряду с литературно-критическими отзывами на творчество современников в газетах «Голос Москвы», «Утро России», «Русские ведомости», в альманахе «Альциона» вышли в свет первые опыты пушкинианы Ходасевича (см.: «Первый шаг Пушкина (1814 — 4-го июля — 1914)». «Русские ведомости», 4 июля 1914; «Петербургские повести Пушкина». «Аполлон», 1915, ^о 3; «А.С.Пушкин. Песнь о Вещем Олеге». «Русские ведомости», 27 мая 1915 и др.) — в дальнейшем одной из главных тем его историко-литературных исследований. В последней написанной в России статье о Пушкине «Колеблемый треножник» (1921) поэт провидчески сказал о том, что самое имя Пушкина станет в будущие трагические годы, может быть, единственным оплотом и последней надеждой отечественной культуры: «...Это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке» («Вестник литературы», 1921, ^о 4-5, с.18-20).

Весной 1916 года у Ходасевича открылся туберкулез позвоночника, летом он побывал в Коктебеле, где существенно поправил здоровье. В 1917 году — вновь поездка в Коктебель. В это время ему угрожал призыв в действующую армию. Так в письме к Г.И.Чулкову от 30 марта 1916 года Ходасевич рассказывал:



«Дорогой Георгий Иванович,

только сегодня я пришел в себя после хлопот и волнений, связанных с призывом. Нюра уже сообщила Вам, чем это кончилось: меня оставили ратником, так что я должен буду являться каждый раз, когда будут призываться ратники уже призванных годов. Это неприятно, но терплю. Освободили меня по глазам и зубам. Если эти пункты потерпят изменения (циркуляры), то у меня все же останется резерв в виде более серьезных моих дефектов, на которые в этот раз не обратили внимания, стараясь, видимо, отделаться более «очевидными» данными. Процедура призыва довольно тяжела, но не так, как я думал. Впрочем, дня 2 после нее я был болен...

Комиссия снисходительна; что избавляет ее от ошибок. Я — пример. Меня освободили вовсе не по тем причинам, по которым должны были освободить — но освободили. Неверна мотивировка — верен вывод.

Проведя у воинского <начальни>ка свои 5 часов, я имел достаточно времени присмотреться и прислушаться. Очень памятуя о Вас, пришел к неколебимому и безошибочному выводу: сидите спокойно в Царском; таких как Вы (простите!) решительно не берут; они (еще раз простите!) действительно не нужны. То же думаю и о себе и потому надеюсь остаться непригодным до конца. У «вербовщиков» наших нюх совсем не плохой. Они очень видят, что для командования мы жидки, а для строя — просто смешны. Армия, самая плохая, — беспредельно лучше нас.

Большое спасибо Вам за тревоги о моей участи. Повторяю — я почти бессилён ответить Вам тем же: уж очень нельзя за Вас беспокоиться. Не ездите никуда, сидите в Царском. Куда рвется Блок? Там поэты не нужны, неуместны, едва ли не смешны. Пушкин был другого склада человек, война была не такая, а я убежден, что под Эрзерумом он гарцевал прекурьезно. Поезжайте, если хотите, смотреть, но воевать Вас не позовут, как и Блока.

Привет Надежде Григорьевне и моему полу-тезке.

Жму Вашу руку.

Ваш Владислав Ходасевич»

(ОР ГРБ, ф.3371, к.5, ед.хр.12).

С весны 1918 года он работал в советских учреждениях: в театральном-музыкальной секции Моссовета, в Театральном отделе Наркомпроса с Ю.К.Балтрушайтисом, Вяч.Ивановым и другими писателями. Вел занятия о Пушкине в студии московского Пролет-



культы. По предложению Горького, с конца 1918 года до лета 1920 года, заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература». В 1919 году сменил В.Я.Брюсова на месте заведующего Книжной палатой Моссосовета.

В конце лета 1918 года Ходасевич и другие литераторы организовали в Москве книжную лавку писателей (Леонтьевский пер., 16). Поочередно в ней торговали О.А.Грифцов, П.П.Муратов, М.А.Осоргин, В.Ф.Ходасевич, А.С.Яковлев, Е.П.Янтарев. Книжная лавка просуществовала недолго.

Весной 1920 года вышла третья книга стихотворений Ходасевича «Путем зерна» — первый сборник, вобравший в себя его зрелые стихи. Сам поэт открыл свое Собрание стихов (Париж, 1927) циклом «Путем зерна», отказавшись вовсе от перепечатывания «Молодости» и «Счастливого домика». Среди многочисленных положительных откликов на третью книгу стихов Ходасевича была, например, рецензия Б.Вышеславцева, признавшего в этих новых стихах «зрелую мудрость, управляющую формой и подчиняющую себе форму»: «Мастерство и техника здесь спрятаны; во внешних украшениях стиха автор сдержан и даже скуп. Зато образы его поэзии охватывают нечто существенное и очаровательное... <...> Его искусство ни на кого не похоже и ни у кого не заимствовано. Все это подлинное золото, добытое из недр индивидуальной души...» («Жизнь искусства», 1922, ^o 1, с.4-6).

Зима двадцатого года была сопряжена для поэта с холодом и бытовыми лишениями, он заболел фурункулезом, вновь напомнил о себе туберкулез позвоночника. Летом того же года Ходасевич оставил свою последнюю советскую службу в московском отделении издательства «Всемирная литература», а в ноябре по ходатайству А.М.Горького перебрался вместе с А.И.Ходасевич в Петроград, где вскоре поселился в Доме искусств.

В 1921 году в издательстве З.И.Гржебина вышла книга переводов Ходасевича с подстрочника «Из еврейских поэтов». В предшествующие годы он переводил образцы польской, латышской, армянской, финской поэзии, которые печатались в так называемых «инородческих» антологиях и периодике. В 1922 году отдельной книгой вышли в свет «Статьи о русской поэзии». Отъезд Ходасевича из России в июне 1922 года, в значительной степени обусловленный, кроме прочих, личными обстоятельствами (увлечением Н.Н.Берберовой и уходом от А.И.Ходасевич), еще не означал



окончательного разрыва с Родиной. Ходасевич не расстался с советским паспортом. В 1922 году он приехал из России в Берлин, где среди находившихся там писателей были те, которые в скором времени отправились обратно в Россию (назовем хотя бы таких известных, как А.Белый, В.Шкловский, А.Толстой). Уже после отъезда Ходасевича в России вышла его четвертая книга стихов «Тяжелая лира» (1922). И тем не менее, остаток жизни поэта прошел в Париже, в котором он окончательно поселился с апреля 1925 года. Там были созданы и многие стихи, вошедшие в цикл «Европейская ночь», изданный в Собрании стихов 1927 года, и мемуарная проза, и основательные историко-литературные работы. Как же произошло то, что Ходасевич, в 1918-1920 годах сотрудничавший в учреждениях культуры, в 1925 году стал эмигрантом и в 1927 году активным автором литературного отдела русской газеты «Возрождение» (Париж), твердо стоявшей на непримиримых позициях?

Конечно, трудно претендовать на несомненный и исчерпывающий ответ на этот вопрос, но тем не менее следует прислушаться к тому, что писал о своем официальном переходе на положение эмигранта сам Ходасевич: «Издавали мы даже под общей редакцией <с М.Горьким> журнал «Беседу» (выходил в Берлине). Ныне «Беседа» на 6/7 ° прекратила существование, ибо эмигранты ее не читали; как не читают они ничего, а ко ввозу в Россию она была запрещена. <...>

Советские паспорта надо пролонгировать каждые полгода. Последний раз в марте римское посольство (т.е. советское в Риме) отказало мне в этом. Мотивы: 1) статья о С.Родове в «Днях»; 2) о Брюсове — в «Соврем<енных> записках»; 3) дурное влияние на Горького. — Мне предложили немедленно ехать в Россию, т.е. в ЧК. Я перешел на «нелегальное» положение» (Письмо к М.М.Карповичу от 3 июня 1925 года) (Oxford Slavonic Papers. New series. XIX, 1986, с.142-143).

В 1923-1925 годах Горький и Ходасевич редактировали в Берлине журнал «Беседа», к участию в котором пытались привлечь писателей, живущих в Советской России; на протяжении почти двух лет редакторы добивались ввоза «Беседы» в Россию. Тем не менее, все замыслы, связанные с «Беседой», закончились неудачей. Журналу не было суждено попасть в руки советского читателя.



О «крамольных» очерках поэта, ставших преградой к пролонгации его советского паспорта, можно сказать следующее. В первом из них — «Господин Родов» («Дни», Берлин, 22 февраля 1925) повествовалось о литераторе Семене Абрамовиче Родове (1893-1968), бывшем в те годы ответственным работником МАППа (1923-24), ВАППа (1924-26), редактором журнала «На посту» (1923-25) вместе с Б.Волиным и Г.Лелевичем. Родов был одним из рапповских «неистовых ревнителеей», теоретиком левого напостовства, выразителем его «сектантских вульгаризаторских тенденций». В своей статье в «Днях» Ходасевич, основываясь на личном знакомстве с Родовым, говорил о лицемерности и приспособленчестве последнего. Родов незамедлительно откликнулся письмом «По поводу статьи Ходасевича в «Днях», попутно адресованным в различные советские руководящие органы, во втором номере журнала «Октябрь» за 1925 год. Письмо Родова было откровенным доносом, обвиняющим Ходасевича не только во лжи, но и в «белогвардейщине».

Что же касается очерка «Брюсов» (1924), довольно язвительно трактующего мэтра российского символизма, то уместно вспомнить, что по поводу его сказал Ходасевичу Горький: «Жестко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне» («Горький»).

Сейчас не имеет смысла судить о том, как сложилась бы судьба Ходасевича, вернись он в срочном порядке в марте 1925 года на Родину. Ясно другое: сам Ходасевич полагал, что сложившиеся обстоятельства фактически лишают его выбора; ибо, очевидно, в России его ждали репрессии — нашлись те, кто поверил провокационному письму Родова.

Таким образом, переход Ходасевича на официальное положение эмигранта в 1925 году был в значительной степени вынужденным.

Эти тяжелые для поэта коллизии во многом обусловили эмоциональную, достаточно резкую тональность многих его воспоминаний и статей второй половины 1920-1930 годов, печатавшихся в газете «Возрождение» и журнале «Современные записки». Этими изданиями в 1930 году было отмечено 25-летие литературной деятельности Владислава Ходасевича. Два года раньше в ⁹ 34 «Современных записок» вышла статья Владимира Вейдле «Поэзия Ходасевича» — наряду с двумя работами Андрея



Белого (А.Белый. Рембрандтова правда в поэзии наших дней. «Записки мечтателей», 1922, № 5, с.136-139; А.Белый. «Тяжелая лира» и русская лирика. «Современные записки», 1923, кн.15, с.370-388) — наиболее основательное осмысление творчества поэта при его жизни. Усматривая в стихах Ходасевича отголоски лирики Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Вейдле видел особую органичную связь поэтики Ходасевича с Пушкиным. Свои размышления критик резюмировал: «Со временем все устроится, упростится. Забудут многое. Но будут помнить, как неслыханное чудо, что Россия в такую эпоху ее истории, имела не только чревоушителей, фокусников и пионеров, не одних стихотворцев и литераторов, но и поэта, в котором она жила и в котором мы жили с нею» («Современные записки», Париж, 1928, кн.34, с.469).

В эмиграции были изданы книги прозы «Державин» (1931), «О Пушкине» (1937) — итог многолетних пушкинских штудий и «Некрополь» (1939), в который вошли девять мемуарных очерков о современниках. Стихов последние годы жизни Ходасевич почти не писал.

В парижский период жизни (как, впрочем, и до отъезда за рубеж) он постоянно нуждался и постоянно изыскивал возможности для скорого литературного заработка. Личные неурядицы (неожиданный уход от него в апреле 1932 года Берберовой), осложнение отношений с газетой «Возрождение» время от времени вызывали у поэта состояние ипохондрии, граничащей с отчаянием. 21 июня 1937 года он писал Н.Н.Берберовой:

«Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее «духовных вождях», за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого «представители элиты» сделали мой скорый отъезд. Извне, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен «в душе», что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то *должны* отнестись положительно). Впрочем, тихохонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, я непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так



что ты бы услышала» (РГАЛИ, ф.537, оп.1, ед.хр.131, л.51).

Думается, поэт, судя по его выступлениям в «Возрождении», неизменно следивший за общественно-политическими событиями на Родине, на самом деле реально не мог и помышлять о возвращении в Москву 1937 года. Процитированный отрывок — в первую очередь свидетельство глубоких переживаний последних лет жизни.

В январе 1939 года Ходасевич серьезно заболел. Он ушел из жизни 53 лет от роду — 14 июля 1939 года в частной клинике на улице Университэ, прожив тринадцать часов после тяжелой операции. В предсмертные дни рядом с ним были его последняя спутница Ольга Борисовна Марголина (О.Б.Марголина погибла в фашистском концлагере в 1942 году) и Нина Николаевна Берберова. 16 июля сотни выходцев из России прощались с Владиславом Ходасевичем, похороненным по католическому обряду на кладбище Булонь-Бьянкур в предместье Парижа.

В 1919 году в одном из стихотворных набросков Ходасевич писал, что песнопенье души поэта сильнее несчастий всех:

Душа поет, поет, поет,
В душе такой расцвет,
Какому, верно, в этот год
И оправданья нет.

В церквах — гроба, по всей стране
И мор, и меч, и глад, —
Но словно солнце есть во мне:
Так я чему-то рад.

Должно быть, это мой позор,
Но что же, если вот —
Душа всему наперекор
поет, поет, поет?

(РГАЛИ, ф.537, оп.1, ед.хр.25, л.4).

Теперь наперекор десятилетиям забвения поэзия и проза Владислава Ходасевича обрели новую жизнь на его Родине.



«Некрополь» Ходасевича — селение живых людей и город их похороненных иллюзий — цельное воплощение трагедии творческой интеллигенции предреволюционного и послереволюционного времени, созданное пером независимого писателя, никогда непосредственно не примыкавшего ни к символизму, ни к каким-либо последующим эстетическим течениям или идеологическим группировкам.

Размышляя над природой воспоминания, поэт говорил в стихотворении «Соррентийские фотографии» (1926):

Воспоминанье прихотливо.
Как сновидение — оно
Как будто вещей правдой живо,
Но так же дико и темно
И так же, вероятно, лживо...

Это сказано о воспоминании, откуда оно еще внутри сознания, до той поры, пока оно не нашло воплощения в слове. Взгляд Ходасевича на мемуаристику был совершенно иным. Рецензируя книгу воспоминаний Зинаиды Гиппиус «Живые лица» (1925), он категорично утверждал: «Правдивость — главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но —





отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная — передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило — не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и его жизни... Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь, — невольная или вольная». В статье «Благоухание седин» этот методологический принцип формулирован так: «Всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук — опасно сливаются со сплетнями» («Современные записки», Париж, 1925, кн.25, с.538).

В своей мемуарной прозе Ходасевич отказывается от прихотливого соблазна домыслить, пересоздать, эстетически деформировать... Он пишет только о том, что сам видел и слышал, стараясь скрупулезно восстановить ткань отошедшего времени. И если иной раз в повествование вкрадывается неточность, то это не более, чем редкая нехарактерная случайность. При этом мемуарист ни в коем случае не отказывается от личных обобщений, которые почти всегда естественно вырастают из факта или ряда фактов. Притом личностная сторона не поглощает фактической. Пожалуй, несколько особняком стоит очерк «Есенин», в котором мемуарное начало занимает равное место с литературно-критическими размышлениями.

Именно стремление к документализму отличает воспоминания Ходасевича от мемуаров некоторых других поэтов-современников. У Марины Цветаевой в этом жанре все подчинено высокому глубоко личностному видению окружающего: отсюда разнообразные творческие наслоения, вторгающиеся в реальность. У Георгия Иванова — подчас нарочито эпатирующие изменения конкретных событий, надуманность характеров.

И еще немаловажное свойство Ходасевича-мемуариста — последовательность суждений: говоря об одних и тех же людях в разных очерках, он никогда не противоречил сам себе.



Здесь уместно вспомнить о том, что поэт, столь негативно оценивший после смерти Брюсова его литературный эгоцентризм, желание властвовать, в одном из первых своих зрелых мемуарных очерков (1924) критически отзывался на своевольную попытку мэтра русского символизма закончить пушкинские «Египетские ночи» еще в 1918 году («Ипокрена», 1918 ^о 2/3, с.33-40), когда тот был в добром здравии.

Ходасевич никогда не отделял жизни от творчества, ему были чужды какие бы то ни было представления о лицедействе. Единство человека и художника — вот главный нравственный критерий в его взгляде на писателей-современников и в то же время основа чрезвычайно взыскательного отношения к своему печатному слову: «...В основе поэтического творчества лежит автобиография поэта. В последнем моменте творчества поэт судит себя прежде всего как человека, ибо из его «человеческих» впечатлений творится поэзия. «Поэт» и «человек» суть две ипостаси единой личности. Поэзия есть проекция человеческого пути» (В.Ходасевич. О чтении Пушкина. «Современные записки», Париж, 1924, кн.20, с.232).

Обратимся же к воспоминаниям Владислава Ходасевича, которые одновременно и произведения художественной литературы, и живые документы эпохи, и содержательные «материалы» к изучению творческих биографий писателей.

*Владислав Ходасевич.
«Некрополь» и другие воспоминания».
Вступ.статья, сост. и комм. Е.М.Беня.
М., 1992, с.6-17*



ХОДАСЕВИЧ И ЮЛИЙ АЙХЕНВАЛЬД

Общение Ходасевича и Айхенвальда — это взаимоотношения писателя со своим критиком.

Юлий Исаевич Айхенвальд родился в 1872 году в г. Балте Подольской губернии в семье раввина. В 1890 году окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, а в 1894 году — историко-филологический факультет Новороссийского университета. Айхенвальд был профессором Высших женских курсов в Москве, где читал курс истории русской литературы. Неоднократно выступал с докладами в просуществовавшем с начала XX века до 1917 года московском Литературно-художественном кружке, в чтениях которого принимали участие также К.Д.Бальмонт, А.Белый, Н.А.Бердяев, С.А.Венгеров, М.А.Волошин, С.М.Городецкий, Вяч.Иванов, С.К.Маковский, Д.С.Мережковский, К.И.Чуковский, Г.И.Чулков и др.

Айхенвальд начал печататься в 1895 году. Он сотрудничал в газетах «Утро России», «Речь» и некоторых других. Айхенвальд опубликовал в России ряд книг и статей, наиболее значительные из которых: «Силуэты русских писателей» (1907-1917), «Посмертные произведения Л.Толстого» (1912), «Спор о Белинском» (1914), «Слово о словах» (1917), «Поэты и поэтессы» (1922).

С 1922-го по 1928-й (год его безвременной кончины) Айхенвальд жил в Берлине, читал курс «Философские направления в русской литературе» в Русской религиозно-философской академии, принимал участие в работе Русского научного института, сотрудничал в журналах и газетах, руководил литературно-критическим отделом в газете «Руль». В газетах «Руль» и «Сегодня» неоднократно публиковались его отзывы о книжных новинках и новых произведениях Цветаевой, Бальмонта, Бунина, Куприна, Набокова, Ходасевича и других писателей.

Еще в 1916 году Ходасевич откликнулся на книгу Айхенвальда «Пушкин» резкой рецензией со значащим заглавием «Сахарный Пушкин», опубликованной 9 ноября в газете «Русские ведомости». В 1920-е же годы поэт оценил у Айхенвальда профессиональную принципиальность и остроту его критического ума,



желание понять современные явления литературы. Об этом писал Ходасевич в последние годы жизни в воспоминаниях о Горьком: «Однажды он <Горький> объявил, что Ю.И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г., в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе» — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящей неподдельной радостью:

- Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался» («Современные записки», Париж, 1937, кн.53, с.291-292).

14, rue Lamblardie, Paris (12-e)

Дорогой Юлий Исаевич,

по-моему — благодарить критика за лестный отзыв — значит отчасти унижать его: ведь он пишет не ради удовольствия автора. Но на сей раз позвольте мне сделать как будто то же, да не совсем то: поблагодарить Вас не за похвалу, а за то, что Вы, один из немногих, поняли моего «Боттома»: его смысла, так хорошо и точно услышанного Вами, — не понимают. Впрочем, и в этом случае слово «поблагодарить» не совсем подходит. — Мне было ужасно приятно Ваше упоминание о Козлове.

Зато в суровом приговоре моим воспоминаниям о Брюсове, — по-моему, Вы не правы. Мне больно было писать их, но желание взять да и сказать правду пересилило. Знаете ли, что я далеко не использовал своего материала? Я умолчал о вещах, поистине ужасных.



А вот помните ли мою статью «О чтении Пушкина» и Ваши замечания на нее? Вот где многое Вами замечено так верно и ценно, что я уже не решился бы перепечатать статью без существенных изменений.

Как видите — я очень слежу за Вашими отзывами и сердечно ценю их. Пропустил только то, что — говорят — писали Вы о 2^о «Благонамеренного», где были мои «Соррентинские фотографии». Не знаю даже, поминали ли Вы меня — и добром ли. Я тогда был болен, лежал больше месяца. Нет ли у Вас лишнего экземпляра Вашей статьи? Не пришлете ли, если не трудно? Здесь добыть невозможно.

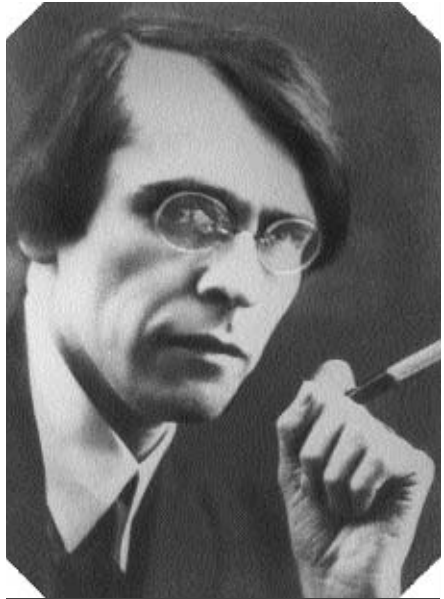
Я уже больше года в Париже, а то все странствовал. Побывал в Праге (проездом), в Мариенбаде, в Ирландии, дважды в Италии — все не очень по доброй воле. Теперь, кажется, осел (плюю, чтоб не сглазить). Если и Вы сообщите несколько слов о себе, буду от души рад и признателен.

Всего хорошего. Крепко жму руку.

Ваш Владислав Ходасевич.

31 июля 926

(РГАЛИ, ф.1175, оп.2, ед.хр.165, л.1, об.).



Владислав Ходасевич. 1920-е годы

Упомянутое в письме стихотворение «Джон Боттом» впервые напечатано в издававшихся в Париже «Современных записках» (1926, кн.28, с.189-196). В рецензии на книгу 28-ю. «Современных записок» Ю.И.Айхенвальд замечал по поводу «Джона Боттома»: «Исключительной красотой обладает «Джон Боттом» В.Ф.Ходасевича. Это в стиле старинной английской баллады выдержанное стихотворение с наивными интонациями, в своем складе и музыке напоминающее слепого музыканта Ивана Козлова <...>».



Юлий Айхенвальд. 1913

Надо отдаться непосредственно очарованию этих замечательных стихов о «неизвестном солдате», на самом деле составленном из двух солдат, об этом Кто-нибудь, об этом общем и Ничьем Анониме, который, однако, имел когда-то на земле свое имя, свою жену, «Джонову жену», и свою собственную руку, теперь замененную рукой посторонней. Такого упрека войне, как в этой художественной, полной мысли и чувства балладе, еще до сих пор не было сделано никем» («Руль», Берлин, 1926, 28 июля).

Стихотворение «Джон Боттом» двухпланово. Внешний план: англичанин Боттом, принужденный к участию в первой мировой войне, погибает на чужой земле;

в могилу к нему кладут «руку мертвую» другого убитого; позже останки Боттома как останки безвестного воина перемещают на Родину, но жена его Мери не идет на поклон к символической могиле, потому что «Джону лишь верна».

«Подводный» план (может быть, не менее важный, хотя о нем сказал Айхенвальд лишь намеком): трагическая отторгнутость лирического героя стихотворения от родного «счастливого домика», в сравнении с которым «и рай ему невмочь». Не приносит герою утешения и апостол Петр, перед которым «решился он предстать»:

34

Так приоткрой свои врата,
Дай мне хоть как-нибудь
Явиться призраком жене
И только ей шепнуть,



35

Что это я, что это я,
Не кто-нибудь, а Джон
Под безымянною плитой
В аббатстве погребен.

36

Что это я, что это я
Лежу в гробу глухом, —
Со мной постылая рука,
Земля во рту моем.

37

Ключи тряхнул апостол Петр
И строго молвил так:
«То — души грешные. Тебе ж —
Никак нельзя, никак».

В написанных в Сорренто воспоминаниях «Брюсов» (декабрь 1924) Ходасевич подчеркивал стремление родоначальника русского символизма властвовать над современной литературой, «врезаться» в века двумя строчками в школьном учебнике истории литературы, которые будут обязаны заучивать гимназисты. Ходасевич утверждал, что двигателем творческого пути Брюсова было тщеславие: «Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее *литераторами*, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом *месте* в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это пошло преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной



склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, — но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Но затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось» («Современные записки», 1925, кн.23, с.217-218).

В примечаниях к своей книге воспоминаний «Некрополь», впервые изданной в Брюсселе в 1939 году, Ходасевич приводит отрывок о Брюсове из ответного письма Ю.И.Айхенвальда к нему от 5 августа 1926 года: «О Брюсове <...>. И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне не мало дурного и когда сопричислился к сильным мира сего, т.е. экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей» («Некрополь». 2-е изд, Париж, 1976, с.278).

Статья Ходасевича «О чтении Пушкина (к 125-летию со дня рождения)» была напечатана в «Современных записках». В ней исследуется понимание Пушкиным природы вдохновения. «Итак, в основу творческого акта Пушкин кладет вдохновение как способность к накоплению и осознанию жизненного опыта. Поэзия возникает для Пушкина не из произвольного воображения, не из абстрактного философствования. В основе поэзии лежит впечатление, т.е. материал, извлекаемый вдохновением из действительности. Отнимите у поэта действительность — творчество прекратится: фабрика «сладких звуков» остановится из-за отсутствия сырья. Поэзия есть преобразование действительности, самой конкретной. Иными словами — в основе поэтического творчества лежит автобиография поэта» («Современные записки», 1924, кн.20, с.231-232). Ходасевич неизменно подходил к творчеству писателя во взаимосвязи с его личностью, особенностями биографии. Этому принципу он был верен, занимаясь исследованиями Державина и Пушкина, осмысляя пути и судьбы своих современников — Горького, Брюсова, Белого, Блока, Сологуба, Гумилева, Есенина, Гершензона...

Стихотворение Ходасевича «Соррентинские фотографии» (5 марта 1925 - февраль 1926) было впервые напечатано в вышедшем в Брюсселе журнале «Благонамеренный» (1926, ^o 2, с.14-21). Это — самобытный образец лирики Ходасевича: за плоскостью



заграничной фотографии 1925 года поэт узревает события прошедших дней, пытаясь в ткани стихотворения восстановить разорванную в сознании его лирического героя связь времен.

*14, rue Lamblardie, Paris (12-e).
22 марта 1928*

Дорогой Юлий Исаевич,

пишу Вам экстренно, из кафе, вот по какому поводу. Только что некто спросил меня, не в Вас ли я «метил», пишучи о Сологубе («Современные записки»). Вы, будто бы, тоже писали о «просветлении» Сологуба перед смертью и т.д.

Все это меня встревожило. «Руля» я не получаю, в киосках его не продают (говорят — запрещен во Франции?). Вижу его иногда в редакции, если Яблоновский еще не успел разрезать. Вашей статьи о Сологубе я не читал. *Если* Вы в самом деле писали о «просветлении» — я с Вами не согласен. Но у меня, сами понимаете, не было причин эдак взъедаться на Вас, ибо, во-первых, каюсь, не помню Ваших *прежних* высказываний о Сологубе. «Метил» же я в Адамовича, который подряд дважды (в «Днях» и в «Звене») писал что-то слезливое о Сологубе и о России и вообще умилялся по случаю его смерти — а пока Сологуб был жив, отзывался о нем презрительно. Вообще зол я на Адамовича, каюсь: злит меня его «омережковение» — «да невзначай, да как проворно», прямо от орхидей и изысканных жирафов — к «вопросам церкви» и прочему. Сам вчера был распродакент, а туда же — «примиряется» с Сологубом, который, дескать, *тоже* прозрел (точь-в-точь как Адамович!).

Так вот — пожалуйста, поверьте, что о Вас не думал, не помышлял — и уж если бы стал *спорить* с Вами, то, во-первых, назвал бы Вас, а во-вторых — по-иному, не тем тоном. Уж если на то пошло — скажу прямо, что давно научился ценить и уважать Вас в достаточной степени. Поэтому — успокойте меня, черкните два слова, что, дескать, понимаете и верите.

Еще — просьба. Некто (тот же) обещал мне дать статью Сирина обо мне, но не дал, затерял ее. Так вот — нельзя ли ее получить? Я бы написал Сирину, да не знаю его имени и отчества, а спросить в «Современных записках» систематически забываю. Так я и эту



статью не читал, а говорят — лестная. Вот мне и любопытно.

Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса. Иногда жила у меня по 2-3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось российским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать, Мы ведь 26 лет были друзьями. Пишу это Вам потому, что она рассказывала о Вашем участии к ней. Но Вы и представить себе не можете, до чего она дошла в Париже.

Ваш В.Ходасевич

(РГАЛИ, ф.1175, оп.2, ед.хр.165, л.2-3 об.).

В 1928 году Ходасевич написал воспоминания-эссе об умершем 5 декабря 1927 года Федоре Кузьмиче Сологубе — одном из крупнейших поэтов-символистов начала XX века. Ходасевич-мемуарист полемизировал с бытовавшим в эмигрантской прессе стремлением после кончины поэта создать сглаженную схему его творческого пути от витания в мире «сатанических» пороков и призраков к «просветлению» и тяге к обыденной жизни в предсмертные годы: «Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил Родину и примирился с Богом. В томто и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любованье речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов!.. Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только теперь. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине» («Современные записки», 1928, кн.34, с.352-353).

Из текста письма к Айхенвальду выясняется, что в воспоминаниях о Сологубе Ходасевич полемизирует с Георгием Викторовичем Адамовичем — литератором, эмигрировавшим из России в 1923 году. В годы эмиграции Адамович выдвигал консервативную концепцию, провозглашавшую, что вместе с классической литературой XIX века прекратила свое существование вся литература России как часть общечеловеческой культуры.



Упомянутый Ходасевичем Александр Александрович Яблоновский (умер в 1934 году) в 1920-е годы, находясь в эмиграции, сотрудничал в редакции газеты «Последние новости».

Рецензия Сирина (В.В.Набокова) на собрание стихотворений В.Ф.Ходасевича 1927 года была опубликована в берлинской газете «Руль» 14 декабря 1927 года.

Спустя годы в статье «О Ходасевиче», написанной после смерти поэта, Набоков сказал: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней» («Современные записки», 1939, кн.69, с.262).

В письме упоминается также Нина Ивановна Петровская (1884-1928). В 1904 году у нее, бывшей тогда замужем за С.А.Сokolовым (Кречетовым), было очень теплое общение с В.Я.Брюсовым. В романе Брюсова «Огненный ангел» образ Ренаты навеян Петровской. Его отношения с ней были для Брюсова своеобразной романтической игрой; для Петровской же игра уже успела превратиться в жизнь. Разрыв с Брюсовым она переживала очень мучительно. 9 ноября 1911 года Петровская покинула Россию. За границей пребывала в ужасающей бедности; жила в Варшаве, Париже, Риме, Берлине. Весной 1927 года приехала в Париж, где жил тогда Ходасевич.

23 февраля 1928 года в Париже Нина Петровская в нищенской третьеразрядной гостинице в порыве безумного отчаяния, открыв газ, покончила с собой.

В 1928 году Ходасевич написал о Петровской воспоминания «Конец Ренаты», вошедшие впоследствии в книгу «Некрополь».

Сборник «Встречи с прошлым», вып.7, М., 1990, с.89-102



ЧТО ОСТАНЕТСЯ ИЗ «ГЛАШАТАЯ»?

«Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне». Это сказал М. Горький Владиславу Ходасевичу в 1924 году после того, как тот прочитал ему свой очерк о Брюсове. Просьба Горького была исполнена: Ходасевич написал о нем воспоминания, лучшие из которых вошли в книгу «Некрополь» (Брюссель, 1939). Статья Ходасевича о Маяковском «Декольтированная лошадь» появилась еще при жизни Маяковского, 1 сентября 1927 года, в парижской газете «Возрождение». И «Декольтированная лошадь», и посмертный очерк «О Маяковском» в той же газете (24 апреля 1930) — злы и язвительны. О скольких известных писателях размышлял Ходасевич и, пожалуй, ни о ком из них так «жестоко», как о Владимире Маяковском. И, думается, эта «жестокость» Ходасевича может быть понятна нам и сегодня, спустя 70 лет после гибели Маяковского, хотя, может быть, и не во всем разделена.

Когда Ходасевича не стало, Набоков высказал мнение, что «он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней». А за четырнадцать лет до этого советские чиновники, обвинив Ходасевича в несоответствии своим идеологическим требованиям и в «дурном влиянии на Горького», отказали ему в продлении советского паспорта и «предложили немедленно ехать в Россию, т.е. в ЧК», тем самым выбросив «гордость русской поэзии» из СССР и оставив его имя на Родине до 1987 года исключительно в подстрочных примечаниях.

Маяковский же в 1920-е годы искренно трудился по «социальному заказу», без устали «наступая на горло собственной песне». «Ваше слово, товарищ маузер!» Такое заявление для русской поэзии уникально своей декларативной негуманностью по отношению к Слову. Он видел террор, расстрелы и тем не менее рекомендовал «юноше, обдумывающему житье», «делать» жизнь «с товарища Дзержинского», он «чистил» «себя под Лениным», созидал поэму о вожде мировой революции...

«Некогда певец хама протестующего, он стал певцом хама благополучного: певцом его радостей и печалей, охранителем



кольтированной лошади» «жестоко» предрекал Маяковскому скорый итог.

Ходасевич, в отличие от Цветаевой и Пастернака, не принимал и дореволюционного творчества Маяковского, более чем сдержанно относясь к футуристическому направлению, стремившемуся к самоцельным достижениям в области формы, ведущим к зауми. Об этом он писал в некоторых дореволюционных статьях, в стихотворении «Жив Бог! Умен, а незаумен...» (1923).

Через 70 лет после ухода Маяковского осознается отсутствие органичной цельности его пути, цельности истории его души, присущей крупнейшим русским поэтам. И невольно задаешься вопросом: останутся ли в памяти будущих поколений его дореволюционное «Облако в штанах», его «Про это», «Во весь голос», цикл «Люблю», трогательные письма к Лиле Брик? Хочется надеяться, что они не канут в Лету вместе с «тяжелоступным» потоком его политической дидактики и лубочных псевдообличений, вместе с мрачными писаньями Фадеева, Серафимовича и Д.Бедного, судьба которых, есть основания знать, предрешена.

Газета «Куранты», 6 июля 1993, с. 7

АХМАТОВА И ЧУЛКОВЫ

Георгий Иванович Чулков (1879-1939) — поэт, писатель, критик. Во время обучения в Московском университете принимал участие в студенческом движении, за что в начале 1902 году был сослан в Якутию, куда за ним последовала его жена Надежда Григорьевна Чулкова (1874-1961).

В 1903 году Чулковы жили в Нижнем Новгороде, а с 1904 года получили разрешение на жительство в Петербурге. В том же 1904 году Чулков был приглашен на некоторое время З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским исполнять обязанности секретаря журнала «Новый путь». С 1904 года был знаком с Блоком, с которым состоял в дружеской переписке до 1915 года.

В 1906-1907 годах он обосновывал концепцию литературного направления «мистического анархизма», якобы явившего единство эстетических принципов петербургского крыла символизма



*Георгий Чулков,
портрет Е. Лансере. 1910*

с настроениями социального и этического радикализма. Концепция «мистического анархизма» была подвергнута резкой критике в символистских кругах. О ее несостоятельности Блок писал А.Белому 15-17 августа 1907 года и самому Чулкову 26 августа 1907 года. В последние годы жизни, осознавая себя человеком православного миросозерцания, Чулков считал свою идею «мистического анархизма» мало обоснованной. В письме-завещании, датированном 6 января 1935 года (РГАЛИ) и вскрытом Н.Г.Чулковой после смерти мужа, Чулков свидетельствовал:

«Родная моя Надя. Случайно раскрыл вторую книжку «Факелов», изданную в 1907 году, и перечитал свою

статью «Об утверждении личности». Эта статья — дурная статья, и я дорого дал бы, если бы можно было ее изничтожить. Смерть не за горами. Я пишу это письмо, чтобы оно было свидетельством после моей смерти о моем отречении от всех этих неосторожных, торопливых высказываний».

В 1906-1908 годах Чулков принимал деятельное участие в издании альманахов «Факелы» (кн.1-3, 1906-1908) и «Белые ночи» (1907). В своих романах «Сатана» (1913) и «Метель» (1917) писатель стремился следовать традициям психологического метода Ф.М.Достоевского. В 1920-1930-е годы выступал преимущественно как литературовед, в частности, как составитель «Летописи жизни и творчества Ф.И.Тютчева» (1933).

Ко времени знакомства в 1911 году с молодой А.А.Ахматовой Чулков — опытный литератор, хорошо известный в художественных кругах Петербурга.

Первая встреча Чулкова с Ахматовой произошла в конце февраля 1911 года на вернисаже «Мира искусства». 1 марта 1911 года состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Ф.Сологубу, на котором Блок, С.Городецкий и Чулков подносили чествуемому лавровый венок. Об этом вечере Чулков сообщал жене в письмах от 28 февраля 1911 года и от начала марта 1911 года. После чествования Сологуба состоялась



*Анна Ахматова,
портрет Ю. Анненкова. 1921*

беседа Ахматовой с Чулковым.

14 марта 1911 года Ахматова вновь увиделась с Чулковым у Вячеслава Иванова, где оба они читали свои стихотворения вместе с В.Княжниным, Ю.Верховским, О.Мандельштамом, М.Моравской. 16 марта 1911 года поэтесса отослала Чулкову первое из известных писем. * Более чем вероятно, до того Ахматова к Чулкову письменно не обращалась. В письме от 16 марта содержится просьба о принятии Ахматовой в «Академию художественного слова», заседания которой проходили в то время в помещении редакции журнала «Аполлон». Позже Ахматова на протяжении нескольких месяцев бывала на заседаниях «Академии». В

апреле 1911 года Ахматова, как следует из главы «Анна Ахматова» в книге Н.Г.Чулковой «Воспоминания о моей жизни с Г.И.Чулковым и о встречах с замечательными людьми» (хранится в ГРБ), одновременно с Чулковым приехала в Париж. Дата отъезда Чулкова в Париж уточняется по его письму к жене от 19 апреля 1911 года. «... Билет, наконец, куплен на 21 число (вечером 11 ч<асов> 15 м<инут> — скорый).

С 1911-го Ахматова занимает заметное место в многолетней переписке Чулкова с женой (хранится в РГАЛИ, ф. 548). За период с 1911-го по 1936 год имя Анны Андреевны Ахматовой упоминается в письмах Чулковых друг другу как минимум шестнадцать раз. Например, спустя несколько месяцев после пребывания в Париже, 22 августа 1911 года, Чулков, сообщая в письме к жене в Москву о петербургских новостях, писал об отъезде Ахматовой в деревню (т.е. в имение Гумилевых Слепнево Тверской губернии Бежецкого уезда): «Ни Гумилева, ни Гумилевой нет в Петербурге. Анна Андреевна, по словам Маковского, была в Петербурге не так давно, но куда-то уехала, кажется, в деревню».

3 декабря 1911 года в газете «Утро России» появилась рецензия Чулкова на раздел «Литературный альманах» журнала «Аполлон», которая содержала краткий лестный отзыв о четырех сти-



хотворениях Ахматовой, опубликованных в четвертом номере «Аполлона». Вероятно, тогда же писалась статья Чулкова «59» — о наиболее интересных в то время, с точки зрения автора, пятидесяти девяти мастерах поэтического слова, среди которых, конечно же, была названа Анна Ахматова.

Среди тех, кому Ахматова преподнесла свою первую книгу стихотворений «Вечер. Стихи» (Спб., «Цех поэтов», <1>912) с дарственной надписью, был Чулков. Позже она дарила Чулкову и другие свои сборники с надписями: «Четки» (весной 1914 года); «Anno Domini» (в 1922 году), «Белая стая» (6 октября 1928 года). На книгу «Вечер», подаренную ему 12 марта 1912 года в Царском Селе, Чулков незамедлительно откликнулся рецензией.

Книги, подаренные Ахматовой Чулкову, хранятся в ГРБ.

В 1914 году Ахматова подарила Г.И.Чулкову вторую книгу «Четки», вышедшую в свет в издательстве «Гиперборей», с дарственной надписью: «Георгию Ивановичу Чулкову, первому приветствовавшему эту книгу. От его давнего друга Анны Ахматовой. Петербург. Весна. 1914 г.». Чулков откликнулся на «Четки» печатным словом. В статье «Письма со стороны» он противопоставил поэзию Ахматовой в целом и «Четки» в частности стихотворному потоку молодых авторов, устремленных к самоцельным формальным достижениям.

О начале работы над «большой вещью», очевидно, поэмой «У самого моря», Ахматова сообщала в письме, отосланном из Слупнёва летом 1914 года Чулкову, позже отметившему «начало общее, мировое» за повседневными образами этого произведения в заметке «Новая поэма».

В 1915-1916 годах Г.И. и Н.Г.Чулковы жили по соседству с Ахматовой на Малой улице в Царском Селе (Ахматова жила в доме Гумилева с сыном Львом и матерью Н.Гумилева Анной Ивановной Гумилевой, урожденной Львовой). 29 мая 1915 года Блок писал А.А.Кублицкой-Пиоттух: «Вчера мы с Пястом и Княжнинным провели весь день и вечер у Чулковых в Царском Селе <...>. Ходили с визитом к А.А.Ахматовой, но не застали ее».

Две записки Ахматовой Чулковой датированы самим адресатом летом 1915 года. В этот период особенно частого общения Ахматовой с Чулковыми была издана книга Г.И.Чулкова «Вчера и сегодня», в которой в очерке «Закатный звон» содержалось сопоставление мировоззрения и поэтического мышления И.Анненского и А.Ахматовой. Критик отмечает, что именно в похожести, общности дарований лежит начало неповторимого голоса Ахмато-



вой, являющего собой не только гармонию чувства и его художественного выражения, но и соединенного с «душой мира» «чудесными таинственными письменами».

За три месяца до отъезда Чулкова в августе 1915 года в действующую армию — в Первый Сибирский передовой врачебно-питательный отряд — 8 мая Ахматова подарила ему свою фотографию с дарственной надписью.

В последний раз Чулков побывал в своем царскосельском доме в феврале 1917 года, когда он приезжал из действующей армии навестить жену и своего годовалого сына Володю, скончавшегося в сентябре (?) 1920 года. В марте 1917 года Н.Г.Чулкова с сыном переехали в Москву; туда же вернулся с фронта и Чулков.

В конце июля или в начале августа 1920 года в период недолговременного пребывания в Петрограде Чулков, очевидно, после четырехлетнего перерыва виделся с Ахматовой, о чем сообщил в письме к жене из Москвы в Грузию 12 августа 1920 года: «Вообще Петроград встретил меня хорошо. Видел Блока, Городецкого, Кузмина, немало молодых поэтов, Щёголева и у Судейкина видел Ахматову — последнюю полчаса. Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья. Но стихи прочла чудесные. Она, по рассказам, в каком-то страшном заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе и очень бедствовали». Эта встреча положила начало новому периоду взаимоотношений Ахматовой с Чулковыми, для которого характерны эпизодические контакты, приуроченные к поездкам Ахматовой в Москву и Чулковых в город на Неве. Например, в 1922 году во время посещения Петрограда Чулкова, как она позднее вспоминала, побывала в гостях у Ахматовой. В том же 1922 году во время одной из встреч Ахматова подарила Чулкову книгу стихотворений «Anno Domini» с дарственной надписью, в которой были приведены последние четыре строки стихотворения «Шепчет»: «Я не пожалею...» Вскоре Чулков опубликовал рецензию на книгу «Anno Domini», в которой, в частности, утверждалось, что «среди поэтесс прошлых и современных у Ахматовой нет соперниц. Среди поэтов ей конгениальны старшие символисты <...> На том же языке говорил покойный Блок».

В статье «Анна Ахматова» из книги «Наши спутники. Литературные очерки» (1922) Чулков подчеркнул цельность мировоззрения поэтессы, выступающую бесспорным свидетельством подлинного своеобразия ее творчества: «Можно принять или не принять мировоззрение Ахматовой, но было бы опрометчи-



вою ошибкою отрицать цельность этого мировоззрения — такая душевная значительность необычайна в наши дни совершенного крушения «цельного знания» и поголовного увлечения тем или иным отвлеченным началом или, что еще хуже, какою-либо формальной и внешнею причудою поверхностного эстетизма».

Эта статья Чулкова не прошла мимо внимания Ахматовой. Знаменательным представляется тот факт, что спустя четыре десятилетия в «Записных книжках» 1961 (?) года . Ахматова упоминает процитированная выше статья из книги «Наши спутники».

В тех же «Записных книжка» 1961 (?) года Ахматова свидетельствует и о том, что в ее автобиографической прозе «Мои полвека» (так и не написанной) будет отведено место обзору литературно-критических статей о ней, вышедших в 1920-1930-е годы, в том числе и статьям Г.Чулкова.

10 апреля 1935 года Чулков записал в своем дневнике «Откровенные мысли»: «В Москве Ахматова. Она каждый раз, бывая в Москве, навещает меня, но теперь как-то мы перестали чувствовать друг друга. Но мне ее жалко. Она замучена своей биографией». Рядом с датой — 1 января 1937 года — приписано: «И на мне вина тоже!» (ОР ГРБ).

Приезжая в Москву в периоды отсутствия в ней Чулкова, Ахматова заходила в гости к Н.Г.Чулковой. В письме к мужу от 20 ноября 1934 года Чулкова писала и о том, что у нее была Ахматова. В письме к Чулкову от 31 июля 1936 года Чулкова повествовала: «Вчера была Ахматова, ела со мной плохой обед. Потом ушла, сказав “Господь с вами”, и подарила мне (сама предложила) свой портрет в Коломне на улице». Ныне эта фотография хранится в рукописном отделе ГРБ. На оборотной стороне фотоснимка начертано: «Милой Надежде Григорьевне Чулковой от старого друга Ахматовой. Москва. 30 июля».

Общение Ахматовой с Н.Г.Чулковой продолжалось и после смерти Г.И.Чулкова, последовавшей 1 января 1939 года от тяжелой мучительной болезни легких.

Газета «Русская мысль» (Париж), 20-26 января 1994



РАССТРЕЛЯННЫЙ ПУТЬ КАННЕГИСЕРА

*Сердце! Бремени не надо.
Легким будь в земном пути,
Ранней пасточкой из сада
В небо синее лети.*
(Леонид Каннегисер; 1916)



*Леонид Каннегисер.
Предсмертная фотография*

Осенью 1918 года был казнен 22-летний Леонид Иоахимович Каннегисер, убийца председателя Петроградской ЧК Урицкого.

Быстрел в подвалах ЧК осенью 1918 года перечеркнул жизнь человека, которому, казалось, суждена блистательная судьба. С детства Л.Каннегисер, сын известного в царской России инженера и надворного советника, директора металлургических заводов, общался с народником Г.Лопатиным и писателем М.Алдановым, был под обаянием этих людей. В 1913-1916 годах он учился в Пе-

тербургском политехническом институте. Его не по годам зрелые, отличающиеся ясностью мысли, конкретностью образов и упругой жесткостью формы стихи печатались в «Северных записках», «Петроградских вечерах», «Русской мысли». В своих стихотворениях, написанных за несколько месяцев до кровавого октября, Каннегисер предсказывал раннюю смерть:

И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать...



Он был вхож в элитарный литературно-художественный круг северной столицы, близко сошелся и переписывался с Есениным, у которого летом 1915 года гостил в Константинове. В 1914 году ему, восемнадцатилетнему юноше, случилось путешествовать по Италии. Не был чужд Каннегисер и политике: его выбрали председателем союза юнкеров-социалистов, он был в партии военных социалистов. Октябрьский переворот перевернул и всю его жизнь: с марта 1918 года поэт вступил в антибольшевистскую конспиративную организацию. Он писал:

Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия, Свобода.
Керенский на белом коне...

Каннегисер убил палача в ответ на казнь своего друга, стрелял в одиночку, не имея сообщников.

Чекист в кожаной куртке на улице отдал отцу убиенного публикуемую здесь предсмертную фотографию его сына и, помолчав, прибавил: «Ваш сын умер как герой...»

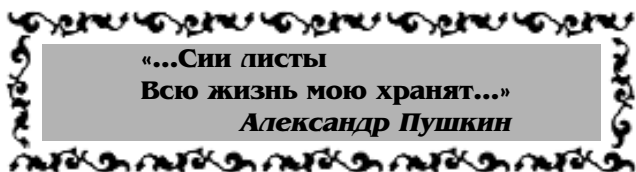
Георгий Иванов писал про тот последний портрет: «Есть в этом лице что-то такое, отчего вздрогнет всякий взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он...»

После Каннегисера остались его стихи и теплые слова о них, сказанные Мариной Цветаевой, Марком Алдановым, Георгием Ивановым... В 1928 году в Париже вышла небольшая книжечка «Леонид Каннегисер». В нее собрали предсмертные его стихи и статьи о нем.

Газета «Куранты», 9 ноября 1993, с.5



ИЗОФОНД ПИСАТЕЛЕЙ



СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ АКСАКОВЫХ

Семейный альбом — традиция некогда чрезвычайно в России богатая, но в двадцатом веке совершенно вытесненная альбомами семейных фотографий, от поколения к поколению ведущих по страницам своим. Если когда-ни-

будь будет создаваться панорама-летопись культурной жизни России XIX века, то без материалов, таящихся под обложками старых альбомов, пожалуй, не обойтись. В архивах таких альбомов — множество. Только в РГАЛИ — семейные альбомы Баратынских, Волконских, Шеньшиных (родственное окружение А.А. Фета), альбомы Н.В.Путяты, А.Е.Измайлова, В.Р.Зотова, Г.А.Мачтета и т.д. Тут и стихотворные, и прозаические посвящения, экспромты и «серьезные» стихотворения, рисунки с пометками авторов и «персонажей», записки о событиях...

Знакомство с этой традицией мы начинаем с альбома





Аксаковых (РГАЛИ, ф.10, оп.2, ед.хр.3). На обложке его оттиснуто золотом: «11 ноября 1857». Дата точно посередине между годами издания самых знаменитых книг Сергей Тимофеевича Аксакова (1791-1859): «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858). Литературные интересы Аксакова-отца занимали центральное место в жизни его большой дружной семьи (у С.Т.Аксакова и его жены Ольги Семеновны было четыре сына и шесть дочерей).

С лета 1844 года Аксаковы поселились в подмосковном Абрамцеве, о котором Сергей Тимофеевич писал: «Какую Бог дал нам деревеньку, так это чудо! Рай земной да и только!... Тут все собрано, чтобы сделать приятным наше там пребывание...» Сюда приезжали И.С.Тургенев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь, Д.В.Путята. Художник К.А.Тру-

товский, посещавший Аксаковых в пятидесятых годах, вспоминал: «За обед садилось множество лиц, и обед проходил всегда очень приятно и очень шумно. Почти всегда затевался какой-нибудь спор, большею частью литературный или исторический <...>. Интересы всех сосредоточивались на науке, литературе и искусстве...» Бывал в Абрамцеве и младший брат С.Т.Аксакова Николай Тимофеевич (1797-1882) — автор первого и заключительного рисунков в альбоме. На первом рисунке — две надписи: «Абрамцевская мельница 1857 г. Август»



и «26 ноября 1857 г. Москва Н.Аксаков». Мельница, что на реке Воре, изображена на фоне дальнего леса, как бы вращается в пейзаж. Любопытно сопоставить этот рисунок с картиной В.С.Константинова, написанной столетием



позже, «С.Т.Аксаков за ужином в Абрамцеве» (1955), здесь — та же мельница, но в ином ракурсе... Над заключающим альбом рисунком, датированным 20 июня 1868 года, карандашная помета: «Москва. Церк<овь> Св.Спиридония по Спиридоновке, где прожили 6 лет». На Спиридоновке (ныне — улица Алексея Толстого) церкви этой давно уже нет,



так что рисунок — словно внезапное «эхо» старой Москвы...

Все портреты, рисованные в альбоме, скорее всего выполнены в летнее время в Абрамцеве. Косвенные свидетельства тому — «декорирующие» эти портреты засушенные цветы. Можно предположить, что автором портретов, набросанных в одной манере, была старшая дочь С.Т.Аксакова Вера Сергеевна (1819-1864), отнюдь не чуждая духовным исканиям отца и братьев Константина и Ивана. Впечатление, произведенное ею на И.С.Тургенева, от-





разилась в образе Лизы Калипиной в «Дворянском гнезде». Известно, что она увлеченно и довольно серьезно занималась живописью: в экспозиции музея-усадьбы Абрамцево представлены ее автопортрет и два портрета младшей сестры Марии (1831-1887). В альбоме — три портрета Марии Сергеевны. Пожалуй, наиболее совершенный из них — акварельный, в обрамлении анютиных глазок, с пометкой «Мария Аксакова». А на предыдущем листе — карандашный набросок с полустертой едва различимой надписью: «Машенька Аксакова». Еще на одном рисунке вместе с Марией изображена ее сестра Софья



(1836-1885), внизу выведено: «Мария и Софья».

Впрочем, не одни только рисунки есть в альбоме. Вот фотопортрет старшего сына С.Т.Аксакова Константина — публициста, историка, филолога, одного из ведущих славянофилов.

Листая альбом, никак не можешь отделаться от ощущения противоречивости мирного, почти идиллического абрамцевского существования, этого семейного согласия, как бы «подсвеченного» поэзией окружающей природы, и теми драматическими событиями века, что прокатились над Аксаковыми, вовлекли их в круговорот острейшей идейной борьбы.

А.И.Герцен, приятельствовавший в юности с сыновьями С.Т.Аксакова, в сороковых годах отошел от них. Однако сохранил неизменным уважение к Аксакову-старшему, более того — почтение. «Вы носите имя чистое, имя честное, — писал он Ивану Аксакову, — имя, которое мы привыкли уважать в вашем отце...»

Журнал «Литературная учеба», 1988, № 1, с.142-144



РИСУЕТ СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Публикуемые рисунки, хранящиеся в фонде С.М.Городецкого в РГАЛИ, могут заинтересовать читателя, по крайней мере, с трех точек хранения: во-первых, в них отразились фольклорные традиции, присутствуют мифологические персонажи; во-вторых, содержание их определенным образом связано с контекстом культуры конца XIX - начала XX в.; наконец, некоторые из рисунков сопоставимы с поэтическими произведениями Городецкого.

Прежде всего о птицах, изображенных на четырех рисунках. Они «залетели» сюда из восточнославянского фольклора.

О народной мифопоэтической стихии Городецкого Блок сказал в декабре 1906 года в «Записных книжках»: «Городецкий весь — полет. Из страны его уносит стихия, и только она, вынося из страны, обозначает «гениальность». Может быть, «Ярь» первая книга в этом году — открытие, книга открытий, возбуждающая ту

злость и тревогу в публике, которое во мне великое всегда возбуждает».

На обороте одного из воспроизводимых рисунков — авторская помета: «25 XI 921». Вероятно, и остальные рисунки относятся к тому же времени, хотя преобладание фольклорных сюжетов сближает их, скорее, с мотивами ранних стихотворных сборников Городецкого: «Ярь» (1906), «Перун» (1907), «Дикая воля» (1908), «Русь» (1909), «Ива» (1912). Впрочем, и к этому времени образы вещей птиц-дев были уже достаточно распространены и популярны в русском искусстве — и в живописи, и в поэзии.

Тут необходимо сделать отступление, вернуться в год 1899-й, в Петербург, где с четвертого по двадцать третье февраля состоялась выставка В.М.Васнецова. Общее внимание привлекли две работы: «Гамаюн — птица вещая» (1897) и «Сирин и Алконост. Сказочные птицы, песни радости и печали» (1896).

Миф о Гамауне «явился» в



Древнюю Русь из восточных легенд и поверий. Эта вещая птица обладала способностью предрекать избранному ею владычество. Ее изображение часто встречается на древнерусских предметах: знаменах, утвари, доспехах и прочем.

Первоисточник легенды об Алконосте — древнегреческий миф об Алкионе, превращенной богами в зимородка. На Руси — в рукописях, на лубочных картинках — Алконост — фантастическая птица с головой девы — чаще всего воплощение несчастной души. А Сирин, тоже заимствованный из античной мифологии (миф о Сиренах), в русских духовных песнях, спускаясь из рая, зачаровывал людей своим пением.

Такие трактовки (во всяком случае, близкие к ним) мы видим на картинах Васнецова.



Блок откликнулся на посещение этой выставки стихотворениями «Гамаюн, птица вещая» (23 февраля 1899 года) и «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали» (23-25 февраля 1899 года). Если в первом из этих стихотворений поэт домысливает и творчески углубляет сюжет Васнецова (на картине пророческое откровение вот-вот зазвучит, в стихотворении — птица «вещает и поет»), то текст «Сирин и Алконоста» — своего рода иллюстрация и лирическая аналогия живописного сюжета.

Но вернемся к рисункам Городецкого. Горделиво поднявшая крылья птица-дева, изображенная поэтом в золотистых, переходящих в багровые тонах, несомненно, «продолжение» васнецовско-блоковского живописно-поэтического диалога, как бы новая ипостась того блоковского Сириня, который «Вот, вот сейчас распушит крылья И улетит в снопах лучей...».

В подлиннике под изображением птицы-девы — полустершиеся от времени карандашные строчки, написанные беглым, едва разборчивым почерком Городецкого. Удалось



прочитать лишь часть их:

...Есть у бабушки сундук
Теремком расписан.
Сверху дверца — стук да стук...
...Крышку кверху подняла.
Смотрит — птица-беломор,
Золотые два крыла...

Ослепительно-яркая золотая окраска «птицы-беломора», ее жилище в «сундуке, теремком расписанном», змееподобные шея и голова, да и древнерусский орнамент на рисунке указывают и на непосредственный мифологический источник — Жар-птицу из восточнославянских волшебных сказок, воспринимаемую в языческие времена, в частности, как воплощение божества грозы Перуна. По преданию, каждое перо ее во тьме сияет как «великое множество свеч», а сама Жар-птица прилетает из другого мира («тридесятого царства»), откуда происходит все, что окрашено в золотой цвет. Кстати, древнеиндусская «модификация» златокрылой огненной птицы — Гаруда — была человекоптицей и царем птиц (см. А.И.Афанасьев. «Древо жизни». М., 1982, с.128, 451). Царственной осанкой и



коронай наделил свою «птицу-беломор» и Городецкий.

Второй рисунок навеян библейским сказанием о грехопадении: поддавшаяся искушению Ева, а за нею Адам вкусили в Эдемском саду запретный плод с древа познания добра и зла, что имело, как известно, роковые последствия для рода человеческого, лишившегося райского благоденствия и изначального бессмертия.

Связь рисунка с библейской легендой и одеяние одного из персонажей (ряса и скуфья) позволяют предположить, что перед нами — иллюстрация к стихотворению «Монах», вошедшему в книгу стихов Горо-



децкого «Ива», к этому страстному монологу монаха, искусенного русалкой, безоглядно предавшегося «безумству плоти»:

Что там было

— и вспомнить нельзя!

Губы в кровь искусала русалка.
Ох, сладка ты, земная стезя,
Коль Адамова рая не жалко!
Так прощай же навеки, скуфья,
Аналой и печальные книги!
Упорхнула судьбина моя
Под иные, живые вериги.

Над головами вкушающих запретный плод — покровительствующие им птицы. Параллель «смыкающих уста» девы и юноши с голубем и белой голубицей встретим мы и в стихотворении «Вихревик» из той же книги стихов.

На третьем рисунке — огненная птица, пробуждающая в мальчике стихию грез и блаженства. Языческий ее прототип — все та же Жар-птица, привораживающая ослепительной красотой (от которой у пытающегося поймать ее останется в руках лишь одно перо), и античная сирена, зачаровывающая сердца нездешним пе-

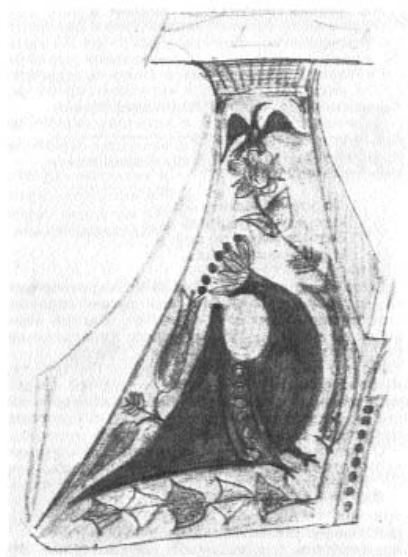
нием.

Заметим, что Сирин (Сирена) в поэзии символизма встречается не только у Блока, но и, например, у Вяч.Иванова (также ценившего поэзию Гордецкого):

До утра сладострастная
Нас нежила Сирена,
Завтра ждал глухой ущерб
И пленная страда...

Если Блок, в целом далекий от мифотворчества, наделяет своего Гамаюна даром «пророка современной исто-





рии», если Вяч.Иванов обращен к «живому мифу» как основе универсального символического творчества, синтезирующего память о мировой культуре, то для Городецкого мифологический план — не более чем рационально заданный фантазией художника вымысел, лежащий на пути к правде, к «здоровой поэзии».

О таком парадоксальном «гиперреалистическом» отношении к мифу Городецкий писал Блоку 28 июня 1906 года: «Миф — это наибольшая ложь. А большая ложь — это существенный признак той большой

здоровой поэзии, которой теперь так хочется. Лги по правде — вот формула, т.е. так, чтобы тебе поверили. Выдумывай, сочиняй, и это будет самая нужная поэзия».

Если быть точным, Городецкий устремлен не столько к сущности древнерусской культуры, сколько к внешней ее оболочке. На первом этапе творчества в стихотворениях его проходит бесконечная «карнавальная» вереница фольклорных персонажей: Перун, Ярила, Вихревик, Яга, Девушки-цветы... Рисунки Городецкого, о которых речь, — продолжение того же ряда; для них, как и для ранней лирики поэта, характерно тяготение к лу-





бочному началу...

В этом плане любопытен пятый рисунок (и тоже с «птичьим персонажем»): традиционно — для Городецкого — стилизованное изображение всадника, элегантно гарцующего на коне. «Лубочный эффект» довершают полуразборчивые строки стихотворного наброска, где есть и о птице:

А на ветке бьется птица,
Трудовое вьет гнездо...

Как приложение к этой небольшой серии — еще два рисунка Городецкого. На первом из них — древнегреческий баснописец Эзоп, о чем говорит едва заметная карандашная помета в левом нижнем углу...

*Журнал «Литературная
учеба», 1987, № 4, с.144-146*





МАЯКОВСКИЙ...

По альбомам Алексея Крученых



«Живой Маяковский»... Эта тонкая книжка, отпечатанная на стеклографе, появилась в 1930 году, вскоре после смерти поэта. Первая дань коллег по литературному цеху — его памяти...

На обложке — портрет Маяковского, рисованный поэтом, одним из зачинателей российского футуризма Алексеем Елисеевичем Крученых (1886-1968). Оригинал этого рисунка вклеен в один из множества хранящихся в РГАЛИ альбомов, составляющих уникальную коллекцию Крученых, — «Маяковский с 1912 по 1930 г.» (РГАЛИ, ф.336, оп.7, ед.хр.36).

Из этого, а также и второго, посвященного Маяковскому альбома («Маяковский. Vis. С 14 апреля 1930 г.» РГАЛИ, ф.336, оп.7, ед.хр.46) взяты почти все предлагаемые здесь вниманию читателей материалы.

А.Е.Крученых собирательской деятельностью занимался около полувека, начиная с двадцатых годов. Сотни составленных им альбомов хранятся ныне в РГАЛИ, Государственном литературном музее и других собраниях. В них запечатлены, так сказать, «бытие и быт» писателей-современников: рисунки, шаржи, автографы, фотографии, газетные вырезки, театральные программки и тому подобное, — все это аккуратно вклеено в альбомы, снабжено пояснительными надписями. Среди этих материалов — множество уникальных. Назову лишь некоторые из альбомов: «Олеша», «Катаев», «Зощенко», «Кирсанов», «Ильф и Петров», «Асеев», «Конструктивисты» и так далее. Альбомы, посвя-



щенные Маяковскому, однако, занимают особое место — ими Крученых занимался, быть может, наиболее тщательно, с какой-то даже одержимостью...



Итак, полистаем альбомы. Вот рисунок Юрия Олеша. Автор без ложной скромности пометил: «Считаю лучшим портретом Маяк. вообще. Ю.Олеша»...

Совсем иначе запечатлел свое отношение к Маяковскому — и свои с ним отношения — Семен Кирсанов. Стремительными штрихами он набросал самого себя, ведомого Маяковским, и пояснил: «Маяк скиф» (в правом верхнем углу листа Крученых добавил:



«Шарж С.Кирсанова: В.Маяковский и С.Кирсанов»).

Далее — два рисунка куда



более ранних — портреты. Первый сопровождается подписью (со стрелкой): «1912 - 3. Рис. Д.Бурлюк». Второй принад-



В. МАЯКОВСКИЙ. Рисунок из альманаха «Требник троих». 1913 г.

лежит самому Маяковскому, это несколько шаржированный автопортрет, подписан-

ный: «рис. В.Маяковского 1912 г.». Собственно, оба эти рисунка известны — они были помещены в изданном в 1913 году альманахе «Требник троих», где были напечатаны стихи Маяковского «А вы могли бы?», «Кое-что про Петербург» и другие. Альманах этот давным-давно стал библиографической редкостью. А портретам Крученых определил место в «графической биографии» своего друга.

Ну, а коль скоро вспомнили «Требник троих», созданный футуристическим содружеством, приведем лист, прямо к этому содружеству относящийся. Правда, он из другой коллекции — из альбома, составленного писателем Е.П.Ивановым (РГАЛИ, ф.336, оп.7, ед.хр.36, л.1). Справа на этом листе — шуточный экспромт Василия Каменского, в центре — карикатурный автопортрет Давида Бурлюка, слева — стихи неустановленного автора по поводу «Облака в штанах», а выше, похоже, рисунок и автограф самого автора поэмы: «Маяковский. Автор облака в штанах». Ручаться за это не берусь — почерк поэта бывал изменчив, — но для



предположения основания
есть.

Чрезвычайно богат и со-
бранный в альбомах фотомате-
риал. Приведем лишь одну из
фотографий — весьма редкую,
на ней: Л.Брик, О.Брик, Р.Якоб-
сон и В.Маяковский.

А следующая фотография
(из фондов Государственного
литературного музея) в этой
публикации как бы переход от



лоны»: городской житель по такому талону мог получить мебель для квартиры, для деревенского — вождеденной «премией» была корова. О том и стихотворные подписи:

Жить без мебели
человеку неловко,
А сколько стоит
хорошая обстановка?
Всю ОБСТАНОВКУ,
какую надо,
Можно выиграть
в коробке «КЛАДА».

Маяковского-поэта к Маяковскому-художнику. Здесь Маяковский — «среди художников» — И.А.Малютина (слева) и М.М.Черемных. В качестве же образцов графики Маяковского — две работы из «рекламной» серии, куда менее ныне известной, чем его знаменитые «Окна РОСТА».

Желая «закрепить» за собой потребителя, фирма, выпускавшая папиросы «Клад», в несколько коробок каждой большой партии товара вкладывала «премиальные та-





(На обороте репродукции — почерком Крученых: «Рисунки В.Маяковского, текст — Н.Асеева и В.Маяковского»).

«Деревенский» вариант:

Всем курцам
заветное слово
В папиросах «Клад»
скрыта КОРОВА,

Чье сердце
молочной КОРОВЕ радо
Ищи ее
в коробке «КЛАДА».

Все эти материалы рисуют Маяковского, конечно, далеко не исчерпывающе, они скорее дополняют представление о нем своеобразной «мемуарной мозаикой».

*Журнал «Литературная
учеба», 1987,
№ 5, с. 144-147*

ПАПИРОСЫ „КЛАД“



Дорогие, какие обаятельные выходы ступи,
уходите! Давно же вы вышли вперед, а вы
дальше! Ищите же в каждой пачке
какую-нибудь скрытую корову!

О КОРОВЕ КОРОВА, ВЕРНОЕ ЧТО-ТО ВЕРНО
ДЛЯ КОРОВЫ, КОРОВА И ЕСТЬ: О КОРОВЕ
«КЛАД» ВЕРНОЕ ЧТО-ТО ВЕРНО ДАВАЕТ
ПРОФИТАБЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ ДАВАЕТ КОРОВУ.



Евгений Моисеевич Бень
НЕ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЮ

Предисловие *Леонида Воронина*
Верстка *Сергея Андросенко*
Макет обложки *Михаила Бени*

Подписано в печать 20.06.2005.
Формат 60 x 84 $\frac{1}{16}$. Гарнитура AGBenquiatСур.
Печать офсетная.

Издательство «ИНФОРМПРОСТРАНСТВО»
ISBN 5-902480-01-9

Отпечатано в типографии
ООО «Бета-принт» (заказ ^о)
(302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 38)